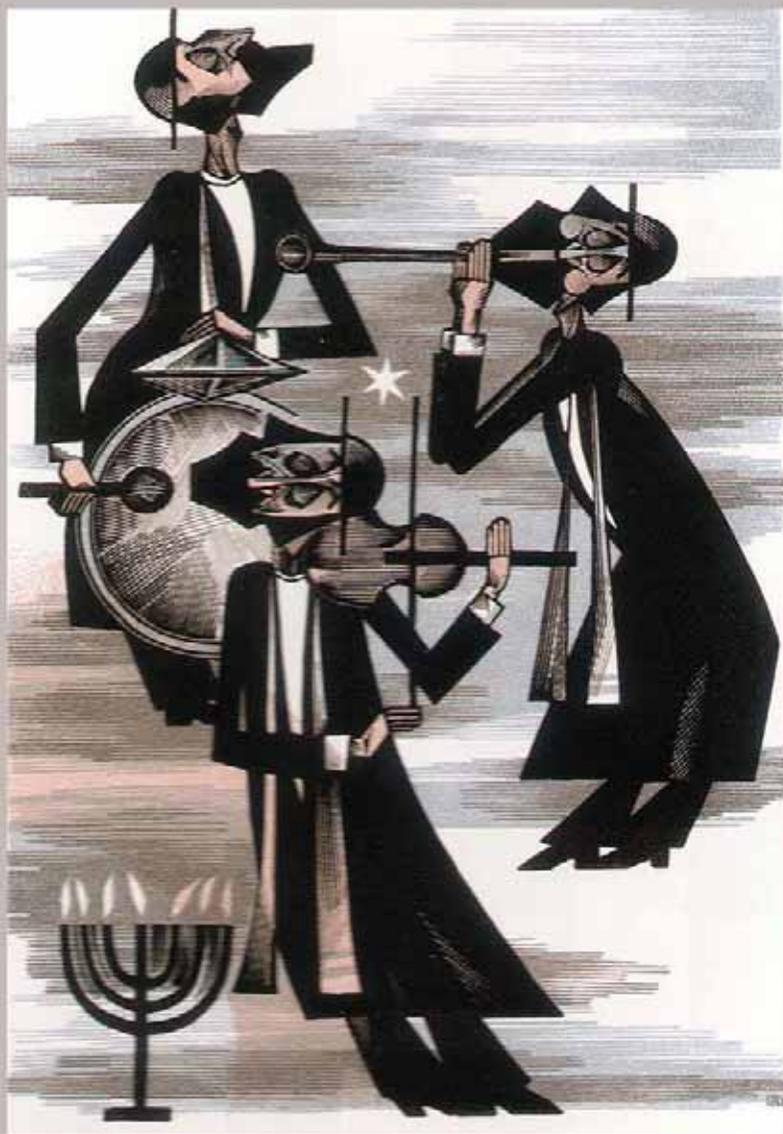


# ЕВРЕЙСКИЕ МОТИВЫ

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  
СОВРЕМЕННЫХ БЕРЛИНСКИХ АВТОРОВ



# **ЕВРЕЙСКИЕ МОТИВЫ**

**ЕВРЕЙСКИЕ МОТИВЫ**  
**в произведениях**  
**берлинских авторов**  
(выпуск второй)

*Редакционная коллегия:*

ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ,  
*главный редактор,*  
ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ,  
АНЖЕЛЛА ПОДОЛЬСКАЯ,  
КАРЛ АБРАГАМ,  
ДАВИД ЯНОВСКИЙ

*Компьютерная вёрстка:*  
ИОСИФ МАЛКИЭЛЬ

*Книга иллюстрирована*  
*гравюрами художника*  
АРКАДИЯ ПУГАЧЕВСКОГО

ISBN 978– 3– 926652– 30–5

*Рукописи не возвращаются*  
*и не рецензируются,*  
*права авторов сохранены.*  
*При перепечатке, ссылка*  
*на сборник обязательна*

**БЕРЛИН 2015**

# **ЕВРЕЙСКИЕ МОТИВЫ**

**В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  
СОВРЕМЕННЫХ  
БЕРЛИНСКИХ АВТОРОВ**

Der Klub der Literatur und Kunst  
bedankt sich herzlich beim Vorstand  
der Jüdischen Gemeinde zu Berlin  
für die Unterstützung bei  
der Herausgabe des  
Buches «Jüdische Motive»

# **ПОЭЗИЯ И ПРОЗА**



## Леонид Бердичевский

### НАРОД КНИГИ

*Моему брату – автору  
монографии «Народ Книги».*

Неистребим и вечен мой народ,  
но, несмотря на мудрые скрижали,  
над ним глумились и уничтожали  
во множестве веков из года в год.

Терпел народ насмешки и обман,  
но беспричинно, грубо, ошалело  
приказы слал о массовых расстрелах  
властолюбивый временщик-тиран.

В чём только не винули мой народ  
Восток и Запад, им всегда был чужд он,  
считали: сжить народ со света нужно.  
Погромы развлекали грязный сброд.

И всякий раз он возрождался вновь.  
И при любой жестокой круговерти  
жить оставался, ибо он бессмертен, –  
Бог влил в него особой группы кровь.

Народом Книги назван мой народ,  
и даже при немыслимых потерях  
не изменял своей, отцовской вере,  
и потому он жил и он живёт.

## МОЛИТВЕННЫЕ СТРОКИ

«Барух Эло-эйну\*» –  
в праздники, в будни,  
так ежедневно взывают люди,  
и верят, что Бог в них примет участие, –  
пошлёт им мир и немного счастья,  
укажет Он верную всем дорогу,  
чтоб шли по ней непременно в ногу,  
поступки свои совершали честно,  
и на чужое не зарились место,  
чтобы свободно и благоговейно  
не забывали: «Барух Эло-эйну»

\*«Благословен наш Бог!»

## ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

«Как часто читаешь ты Ветхий Завет?» –  
спросили с ехидцей меня.  
«Всегда – признаюсь – с незапамятных лет,  
он совесть моя и броня.  
По главам я знаю его наизусть,  
прозренья он сеет и свет,  
смягчает волнение, невзгоды и грусть,  
советчик мой – Ветхий Завет.

Всем жизненным опытом Ветхий Завет  
питает меня из щедрот.  
Я мудростью вечной его обогрет,  
он свежие силы даёт.  
Читаю я заново Ветхий Завет,  
и высшего мне не дано.  
Я знаю, что он – в беспредельность билет,  
бессмертье ему суждено».

\* \* \*

«Дни бегут быстрее челнока»\* –  
нам напоминает книга Иова,  
и несёт она издалека  
Ветхого Завета мудрость слова.

Это не метафоры приём,  
не для скоротечности упрёки,  
а одна из многих аксиом, –  
нам их предоставили пророки...

Только Богу благодарен я,  
что пока ещё могу стремиться  
вдаль. забыв препоны бытия,  
и держусь лишь этих я традиций.

*\*Книга Иова (7,6)*

## БИБЛЕЙСКИЙ СТИХ

Гортанной россыпью иврита  
молитвы повторял мой дед.  
В словах их смысл был, иль нет,  
тогда, по молодости лет,  
я не искал, в чём тайна скрыта.

Я повзрослел. Душой поэта  
стал понимать: библейский стих  
дороже помыслов мирских,  
богаче копей золотых. –  
он соткан Совестью и Светом,  
его теплом земля согрета,  
и это утверждает Бог.  
В стихе библейском – наш исток,  
существования залог,  
и время подтвердило это.

Бегут века. Прочней гранита  
молитвами скреплённый дух,  
он не исчез и не потух...  
Стихом библейским тешим слух,  
гортанной россыпью иврита.

## ТЕРНОВЫЙ КУСТ

Негаснущий терновый куст, –  
вот символ нашего народа.  
Неопалим он, ярок, густ  
и вечен, как сама природа.

Его воспламенил сам Бог,  
и порученье дал Мойсею,  
чтобы народ не изнемог,  
и вместе собрались евреи

в пустыне, у горы Хорив,  
все в путь отправились желанный.  
«Сплотитесь, – прозвучал призыв, –  
вперёд к земле обетованной!».

Минуло множество веков, –  
куст всех одаривает светом...  
И праведность библейских строф  
напоминает нам об этом.

## МОЁ МЕСТЕЧКО

Я листал свою жизнь за страницей страницу,  
вспоминал своих предков прекрасные лица...  
К сожаленью, в еврейском местечке я не был,  
не вдыхал его запах, не ел его хлеба,  
хоть и были далёкие предки оттуда,  
но меня не коснулись его пересуды.

Мойхер-Сфорим и Шолом-Алейхем, и Бабель  
подарили местечко мне в полном масштабе.

Понял я, где начало берут мои корни,  
и дыханье моё стало много проворней.  
Ощутил с ним тогда общность родственных связей,  
что по мне расплескались причудливой вязью,  
и меня снарядили по жизни в дорогу,  
завещав чистоту уважения к Богу.

Стали ближе мне хупы, брит-милы, бармицвы,  
грусть в глазах местечковой библейской девицы,  
блюда кухни еврейской, беззлобные споры,  
местных цадииков мудрые разговоры.  
Их великая правда, что сердечностью движет,  
для меня обозначилась высшим престижем.

И никто эти чувства заменить мне не сможет, –  
ни Париж, ни Нью-Йорк с их комфортом и ложью.

\* \* \*

*Памяти Рейзл Цихлински*

Я верю, пролетят десятилетия,  
я чувствую, столетья пробегут,  
эрозия разъест столбы из меди,  
но память будет звонкой, как Талмуд.

И не забудут правнуки и внуки  
о Холокосте тех кровавых лет,  
когда народ захлёбывался в муке,  
и время не сотрёт тот страшный след.

Слегка затянет раны польский Габин,  
но ветер не развеет трупный газ,  
и на сердцах осядет чёрной рябью  
оставленный войною метастаз.

Вот в чём была провинность всех евреев, –  
звучало, как проклятье: ты – еврей,  
и не было на свете тяжелее,  
чем принадлежность к нации своей.

## ВЕРЛИБРЫ ПАМЯТИ

Stolper Steine –  
преткновенья камни –  
медные квадраты брусчатки.

Они намертво вписаны  
в тропы Берлина.

На них имена евреев,  
погибших  
от зверств нацизма.

Мы ходим по Памяти.  
Ходим по Именам.

Пламя Памяти  
при преткновении  
поднимается  
по стволу тела к коре  
головного мозга.

Камни не немые.  
Имена взывают.  
Мысли летят  
к Катастрофе,  
к Холокосту

Stolper Steine –  
преткновенья камни  
болью сжимают сердца,  
напрягают дыхание,

не позволяют  
осушить слёзы.

Трагическая  
мозаика Берлина.

Вечное Горе...  
Вечная память.

## ИЕРУСАЛИМ

Мой голос внутренний поёт:  
Иерусалим!

Давида город, город Соломона,  
он на холмах стоит и горных склонах,  
тремя религиями он боготворим.

Он символ Вечности. Стекается народ,  
чтоб поместить желанье в Стену Плача,  
и верит, что Господь прочтёт их и поймёт,  
и наградит покоем и удачей.

От севера его, с Гило на юг – в Рамот,  
все трудятся и защищают землю,  
никто иную жизнь и не приемлет,  
лишь ту, в которой счастлив весь народ.

Там лето круглый год, и только шутки зим,  
цветы и цитрусовый сад на камнях,  
пропитанных библейскими стихами.  
Мой голос внутренний поёт:  
Иерусалим!

Я Господа прошу. Ему слагаю гимн,  
чтоб Город процветал тысячелетья,  
и не было на нём войны отметин.  
Мой голос внутренний поёт:  
Иерусалим!

## МАДАМ ШАБАШКЕВИЧ

Несколько лет, как окончилась война, но город жил ещё состоянием недавней катастрофы.

Руины улиц и домов, угрюмые лица жителей и даже одежда, были покрыты серым цветом тоски, казалось бы, навсегда поселившейся в облике и глазах окружающего мира.

Улыбки стёрлись с лиц, словно банной губкой. Запах нищеты и махорки плыл по воздуху, отправляясь на небо, словно за помощью. Даже приветствия и редкий обмен мнениями были с оглядкой и осторожностью.

В этой серой массе резко выделялась дама, размеренным шагом идущая по улицам. Прохожие оглядывались, рассматривая её в упор, и провожали недоуменными взглядами, то восхищения, то откровенного любопытства, словно обложку неизвестно откуда возникшего иностранного журнала.

Дама была среднего возраста. На голове ладно сидела шляпка, напоминающая птичье гнездо, кончик носа был схвачен узким прямоугольным пенсне, справа цепочка, заброшенная за ухо. В руке дама держала зонт-трость, на которую с достоинством и ловкостью, опиралась. Под мышкой – плотно зажата узкая лаковая сумочка.

Общая композиция настолько зрелищна, что не остановить на ней взгляда было невозможно.

Дама – детский врач, и родители стремились лечить заболевших детей именно у неё, ибо уровень её профессионализма был известен, и слухи о том распространились по всей округе.

Жила она в том же Молотовском районе, в одном из уцелевших в войну доме на пятом этаже в однокомнатной квартире со своей сестрой, старой девой, недоучившимся врачом Сонечкой, и четырнадцатилетним сыном, Додиком, которого называла для мужского престижа мальчика не иначе, как Давидом, чем он был,

несомненно, польщён. Хозяйством и воспитанием Додика занималась Сонечка, полностью удовлетворённая доверием младшей, вполне успешной сестры.

Забыл представить нашу героиню. Она, конечно же, имела имя и отчество, но все окружающие, а нередко и домашние, величали её мадам Шабашкевич.

Еще до революции она закончила медицинский факультет в одном из университетов Германии. Свободно владела немецким и английским языками, но предпочитала объясняться только по-английски, Вероятно, здесь сказалась война с Германией.

Вышла замуж она за коллегу, врача-хирурга. Оба были немолоды, называли друг друга на «вы». Муж, Михаил Евсеевич, врач, погиб при налёте авиации противника на госпиталь, в котором работал. Семья уцелела, будучи в эвакуации.

Мадам Шабашкевич служила там врачом, Сонечка – медсестрой. Когда они возвратились в город, им выделили комнату. Додик уже заканчивал среднюю школу. Учился хорошо. Прилично изъяснялся и читал по-английски. Дружбу ни с кем не водил. Так случилось. Был погружён в книги и неусыпный контроль Сонечки. Ну, словом, как говорится, целеустремлённый юноша.

Всё было бы гладко, логично, правильно, но однажды...

Это вечное, однажды. но, увы, в данном случае, необходимое, хоть и стало оно чем-то вроде «притчи-во-языцах» и, наверняка, вызовет брезгливую гримасу у читателей.

Итак, Сонечка простудилась и слегла. Обычное респираторное заболевание. Но на улицу выходить запретили. Так как Додик был неприкосновенен, и мальчику никогда не давали денег в руки, Сонечка вынуждена была просить сестру сходить в гастроном за продуктами.

Гастроном был переполнен. Очереди вились, как змеи в джунглях. Мадам Шабашкевич законопослушно заняла очередь. Несколько минут стояла молча. Затем развернула газету и углубилась в неё, забыв о своём местопребывании, и, вероятно, слегка отошла от общего строя. Почувствовав толчок, она подняла глаза и спокойно сказала: «Гражданин, нельзя ли поаккуратней». В ответ услышала: «Старая жидовка, ах-х, недотрога!»

«Помилуйте, сударь, я детский врач, причём здесь...» Но фраза повисла в воздухе незаконченной. «Подумаешь, врач, всё равно, жидовка, и всё тут». Мадам Шабашкевич растерялась. Пенсне свалилось с носа, повисло на цепочке. Она беспомощно подняла глаза и ясно увидела улыбки на многих лицах и даже у двух родителей своих пациентов, которые не отвернулись. Было не до покупок. Она стремительно вышла из гастронома. По дороге к дому губы непроизвольно шептали: «Ни один, ни один... круговая порука. Хватит».

Дома не рассказывала. На вопрос Сонечки: «Почему без покупок?» ответила: «Не хватило».

Утром следующего дня пришла на работу раньше обычного, зная, что главврач уже на месте.

Вошла в его кабинет и положила на стол заявление об уходе на пенсию.

«В чём дело, – спросил главврач, – ведь ещё вчера вы ни словом не обмолвились о своём плане?» «Я плохо себя чувствую. Да и молодым надо давать дорогу, – ответила мадам Шабашкевич, – стара я». «Молодым, – пробормотал главврач – им до вашего уровня надо ещё работать с полвека, да и вашу преданность профессии нельзя наработать, это от Бога, подумайте. Не хочу принимать ваше заявление». «Я обо всём подумала» – твёрдо произнесла она и вышла из кабинета.

Весть об её уходе быстро распространилась среди пациентов. Под парадным её дома караулили обеспокоенные мамы, прося о частных визитах, но мадам Шабашкевич отказывала им.

Время не шло, оно угарно, слепо мчалось в небытие. Вот уже и Сонечка ушла в мир иной, и Додик стал врачом, женился и обзавёлся сыном, да и мадам Шабашкевич чаще проводила время в постели из-за мучивших её недугов.

Женой Додика была тихая спокойная девушка – Люсенька, библиотекарь, родители её с уважением и вниманием относились к мадам Шабашкевич. Именно они первыми заговорили об отъезде за границу. Отец, Макар Сергеевич, человек с безупречной служебной репутацией, фронтовик, сказал Додику и Люсе: «Дети, надо менять жизненную ситуацию. Подумайте о будущем своём и

своих детей. Здесь оно бесперспективно. Додик, у тебя, еврея, пока есть такая возможность, неизвестно, что будет потом».

Вечером Додик пришёл к матери и рассказал ей об этом разговоре. Мадам Шабашкевич ответила: «Макар Сергеевич умён, дальновиден и точен в своём определении ситуации».

Сын, подумай о детях, о жизни. Прими правильное решение».

Додик и Люся подали заявления на своих работах, и сразу же, в ОВИР. Мадам Шабашкевич категорически отказалась ехать. «Как я оставляю там Сонечку одну, – это нечестно, Мы прожили вместе всю жизнь, должны быть и там вместе, – отрезала она, – это окончательно».

На следующей неделе она тихо, во сне, ушла из жизни. Теперь сёстры снова рядом. С судьбой не поспоришь. Она всегда точна и стремительна.

## ФИКТИВНЫЙ БРАК

Пиня с мамой занимали длинную, узкую комнату в многонаселённой коммуналке. Снаружи к дому примыкали продовольственный магазин и кулинария. Оттуда по ночам набегала отвратительная нечисть – тараканы и крысы. Клопы были собственностью жильцов, с которой они смирились.

Пиня работал электриком в школе напротив. Это давало возможность часто прибегать домой: водить парализованную мать в туалет, перестилать постель, готовить пищу, стирать мелкие вещи и тут же, в комнате, сушить их.

Полгода, как мать начала, опираясь на Пинину руку, передвигаться по комнате. Болезнь длилась семь лет, и только сравнительно крепкое сердце держало её на свете. Паралич разбил её на улице, когда она шла с работы.

За истекшее время друзья Пини обзавелись семьями. Каждый был занят своим делом. Пинина жизнь сосредоточилась на заботах о матери и работе. Времени на знакомства не оставалось. Многие однокашники уезжали за рубеж.

Однажды Пиня проснулся посреди ночи. Привычного мамии-

ного храпа не было слышно. В комнате повисла тишина. Пугающая и зябкая. Пиня окликнул мать. Ответа не последовало. Он подошёл к маме, вял её за руку. Она была холодна и, как показалось Пине, морозна. Мама умерла во сне. Назавтра её схоронили. Обычное течение жизни прекратилось. Нужно было думать о том, как жить дальше. Окружающие называли Пиню Павлом, так значилось в паспорте. Пиней его звали родители да бабушка с бабушкой. Отец погиб на фронте, а старики ушли «по приказу», как тогда говорили, в Бабий Яр.

Павел не находил себе места. Бесцельно бродил по улицам. Подолгу задерживался на работе.

Питался в общественной столовой. Тяжело засыпал.

Через два месяца Павел встретил завуча школы, в которой работал. Николай Акимович – так звали завуча – попросил Павла прогуляться с ним. По дороге он рассказал Павлу о своём душевном состоянии, чем сразу расположил к себе.

Светлана – дочь Николая Акимовича была замужем за Олегом – учителем физкультуры той же школы. Молодые люди решили уехать за границу, но не знали, как это сделать. Перебирая разные варианты, они остановились на том, что реальнее всего развестись и заключить фиктивные браки, разумеется, с евреями, за приличное вознаграждение. Остановившись на этом варианте, они стали искать подходящих людей. Светлана вспомнила о Павле, зная о нём от отца. Об этом Павлу рассказал Николай Акимович. Павел не отказался от предложения, зная завуча, как человека порядочного и доброго. Лишь попросил время на обдумывание.

Да и советоваться не с кем было. Обычным знакомым Павел не доверился бы.

Спустя два дня Светлана сама позвонила Павлу и попросила разрешения прийти в гости. Весь следующий день Павел готовился к встрече. Прибрал в квартире, застелил мамину кровать, к которой не подходил со дня похорон.

Светлана пришла в назначенное время. Она была несколько выше Павла, со вкусом одета и совершенно не применяла косметику. Разговор был конкретным, причём Павел не задавал вопросов. Светлана тут же давала на них подробные ответы. Она останавли-

валась на причинах отъезда за границу, высказывала суждения о взаимоотношениях между людьми, о политике, о бесперспективности её, как архитектора. Сказала, что полностью берёт на себя все расходы по отъезду, по приобретению необходимой одежды и домашней утвари. Деньги на всё она скопила.

Для Павла опять наступили томительные часы раздумий, взвешивания обстоятельств и сомнений. Светлана звонила часто. Они гуляли по улицам, беседовали обо всём, что их волновало. Павел старался вникнуть в близкий Светлане мир, совершенно ему незнакомый, – мир искусства, поэзии, музыки, театра, понимая, что жизнь жестоко с ним обошлась, лишив всего этого, ведь он уже не молод, чтобы начинать сначала.

Через полтора месяца они расписались. Она ночами оставалась у Павла, чтобы отвести подозрения знакомых и соседей. Павел спал на кровати матери, она – на его раскладушке. Он приободрился, стал готовить еду к её приходу, прибирал в комнате. Окружающие поверили в их семейную гармонию. Павел не позволял себе никаких вольностей в отношении Светланы, но чувствовал, что привыкает к ней, тосковал, когда она приходила позже.

Спустя месяц он проснулся от нежного дыхания и осторожных поцелуев. С детства он ничего подобного не ощущал. Светлана, не дав ему опомниться, всё крепче прижималась к нему, возбуждая плоть взрослого мужчины, требуя ответной ласки. Она говорила о том, что её чувства непонятны ей, может это ещё не любовь, а необыкновенная нежность, острое желание находиться рядом. Она говорила о потрясении, которое ощущает от его внимания, ненавязчивого, но искреннего, необходимого каждой женщине и, которое обходило её.

Внимания, о котором она мечтала. Павел, казалось, слушал её. Ему хотелось верить ей, но он думал о том, что слова её связаны с желанием уехать. Наконец, он заговорил. Напомнил о возрастной разнице, о разном интеллекте и образовании.

Каждую ночь они проводили в одной постели. Павел ощущал себя мальчиком, послушным и жадным к знаниям, учеником. Она повторяла, что безумно счастлива, не хочет и слышать об отъезде, только бы быть с ним. Теперь уже он стал настаивать, думая, что

при любом исходе их отъезд – это его благодарность за её теплоту и внимание.

Они начали собирать необходимые документы, съездили в Москву, в израильское посольство. Она уволилась с работы, и они всё время проводили вместе.

За день до отъезда были устроены проводы в квартире родителей Светланы. Николай Акимович, произнёс тост: «Я полностью доверяю Вам свою дочь, зная Вас, и наблюдая за вашими взаимоотношениями. Не сомневаюсь и в искренности Светланы; верю в её счастье»

Провожающих на вокзале собралось немного: родители Светланы, Олег с матерью и ещё несколько человек. Олег попытался поцеловать Светлану, но она отстранилась. Он попросил её позвонить из Вены, она спросила: «Зачем?»

– Я ведь твой муж, – напомнил он.

– Бывший, – возразила она, – мой муж – Павел, и никто другой.

– Да ты с ума сошла. Это ведь только Пиня – рассердился Олег.

– Я ясно сказала, кто мой муж, – закончила Светлана, поднимаясь на подножку вагона.

Мать Олега, слышавшая их диалог, подошла к сыну и прошептала:

– Светлана наша совсем ожидалась.

– Это уж точно, – подтвердил Олег.

Не попрощавшись, они быстрым шагом покинули перрон.

Набирая скорость, поезд уносил Светлану и Павла в неизвестную жизнь.

## Давид Брацлавер

### КОЛОКОЛА

Опять звонят колокола.  
Их звон печальный  
Напоминает звон стекла  
В «Ночи хрустальной».

Иное время за окном...  
Но крики, свисты,  
И строем, как в тридцать восьмом,  
Идут фашисты.

Не миллионы на пути –  
Иные карты:  
И может жертвам счёт пойти  
На миллиарды!

Звонят, поют колокола  
Печальным стоном,  
Напоминая звон стекла  
«Хрустальным» звоном.

### СТРАШНЫЙ СОН

Слепой, безжалостный погром,  
Который кровью залил дом,  
Всю жизнь, до смертного конца  
Хранился в памяти отца.  
И вспоминал злодейства он,

Как страшный сон,  
Как страшный сон...

Затем меня гноил злодей  
Лишь потому, что я еврей,  
И намекал: таким, как мне,  
Спасенье – в собственной стране.

Я ночью, вспомнив предков стон,  
Увидел сон,  
Счастливым сон –

И вот, доживший до седин,  
Бежал туда, как блудный сын,  
Страну былую не кляня,  
Её народы не виня,

Но вспоминал тот «Вавилон»,  
Как страшный сон,  
Как страшный сон...

## С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ИЗРАИЛЬ!

Израильским вином в бокале  
Я поздравляю каждый год  
С рождением страны Израиль  
Весь славный, древний наш народ.

Страна – творенье Божьих рук,  
Ты славишься не расстоянием:  
Здесь рядом север, рядом юг.  
Ты славишься Умом и Знаньем!

Флаг реет бело-голубой  
с шестиконечную звездой...  
И хочется, забыв про бой,  
Смотреть на небо над тобою.

Чарует красота картин:  
Голаны, волны в Ям Тихоне,  
Зелёные ковры долин  
И шапка снега на Хевроне...

Израильским вином в бокале  
Я поздравляю каждый год  
Наш древний маленький народ  
С рождением страны Израиль!

## Нора Гайдукова

НЕМЦАМ,  
СПАСАВШИМ ЕВРЕЕВ

Опять всё камни, камни,  
Бетонные, бессмысленные плиты,  
Тяжёлые, как Память. Лабиринты.  
Вот камни под ногами. С именами  
И датами рождения и смерти.

Кому-то даже Доски на стенах  
С коротким пояснением: кем был,  
Чем заслужил и почему  
В сорок втором отправиться туда,  
Откуда шансов не было вернуться.

Но эти камни – словно бы окошки  
В прошлое, в земле, в асфальте.  
Вас, Гюнтер Деминг\*, давно уже  
Причислили к святым.  
(А если не успели, то причислят).

Профессор Вольфганг Бенц\*\*,  
Позвольте поклониться.  
Надеяться, что защищать евреев –  
Не конъюнктурный ход,  
А зов души здоровой,  
Несущей свет от своего народа.

Народ-то нехорошим не бывает.  
Гешвистер Шолль и «Белой Розой»,\*\*\*

Как Светом Вечным,  
Будет Мир украшен.

*\*Гюнгер Деминг – автор проекта по вмонтированию  
в тротуары табличек с именами и датами  
депортации погибших евреев возле домов, где они жили.*

*\*\* Профессор Вольфганг Бенц – зав.кафедрой исследования  
антисемитизма в Техническом Университете Берлина.*

*\*\*\* Гешвистер Шолль – сестра София и брат Ганс Шолль,  
организаторы «Белой Розы» – подпольной антинацистской  
студенческой организации. Были убиты гестаповцами.*

### УТРО В ШКУНАТ ИБИКУР

В субботу утром, пристегнув ключи,  
Отправятся евреи в синагогу.  
Другие – на зарядку. Понемногу  
Выходят из домов с собаками  
(Хотя по Торе собаку  
Нужно было б исключить).  
А рядом – военный лагерь  
С северным оленем.  
Одеты в хаки парни и девицы.  
С утра их вновь гоняют, не жалея,  
Чтобы могли за Родину вступиться.  
Цветы благоухают, раскрывая  
Свои на ночь закрытые соцветья.  
И хочется поверить, что Израиль–  
Приют евреев на тысячелетья.

### МАРК ШАГАЛ В ГАМБУРГЕ

Холодный, прямоугольный  
Высокомерный, невозмутимый  
Ганзейский  
Город гусей,  
Пасущихся на площади

Перед Ратушей,  
Украшенной гербами  
Семи столетий.  
Как будто не было  
Лихолетий.

На голове у Гейне  
Сидит голубой голубь.  
Краски пооблупились.  
Никого не волнует  
Его интеллектуальный голод.  
Что случилось — уже случилось.  
В кафе Культур-Форума.

В залах сияют  
Влюбленные лица,  
Красные птицы.  
Летающие евреи.  
Печальный раввин  
Застыл, глядя на крест.  
Христос у Шагала —  
Тот же еврей,  
Распятый шесть  
Миллионов раз.  
Среди коротких  
Немецких фраз.

В кафе ниже этажом  
Благополучные «сеньорен»  
Едят дорогую еду.  
Тихо беседуя о том,  
Куда сегодня пойдут.  
Средний возраст —  
Восемьдесят два.

Но вот одна из них  
Падает.  
И лежит на полу, в углу...

Через несколько  
Минут приедет доктор,  
И её увезут.

Никто особенно  
Не расстраивается.  
Она свое прожила.  
В Гитлер-Югенд была.

А сейчас этажом выше –  
Картины еврея  
Марка Шагала!  
Где высокомерно  
Смотрит на немцев  
Его темноокая Белла.

Пойдемте скорее смотреть!  
Там Жизнь, победившая смерть.

## ТУЛУЗСКИЙ ПАЛАЧ

*Посвящается жертвам расстрела  
еврейских детей, их учителей и трех  
французских солдат в Тулузе 19 марта 2012 г.*

Солнечным мартовским утром  
На юге Франции в старинном  
Городе Тулузе  
Апельсиновый сок и  
Ломтик поджаренной булочки  
На завтрак маленькой девочке  
Мириам  
Из еврейского колледжа.  
Мама заплела ей  
Две тоненькие косички...  
Щебетали птицы,  
Смутный мальчик развозил молоко.

Булочник ставил свой противень в печь,  
Почтальон бросал письма  
В почтовые ящики на чистых  
Разноцветных калитках.

Тем временем в *Книге Злодейств*  
Уже было написано, что:  
Появится вооруженный  
С видеокамерой на животе  
Некто на мотороллере –  
Араб, каких во Франции миллионы,  
Невзрачный и некрасивый,  
Но в лагерях «Аль Каеды»  
НАТРЕНИРОВАННЫЙ НА:

Охоту на маленьких деток,  
Охоту на безоружных,  
Охоту на проходящих мимо.

Каждый исламист — это мина,  
Которая рано или поздно  
Взорвется и убьет «неверного»,  
А, может, и единоверца,  
Если неверного нет под рукой.  
Суниты и шииты  
Перебьют наконец друг друга?  
Тогда наступит покой.

Маленькие еврейские дети  
Лежат в крови на асфальте  
У входа в еврейский колледж.  
Они не увидят мессию  
А может, увидят, там – за чертой,  
Где каждый найдет покой.

Тем временем полиция  
Окружила квартиру убийцы.  
Привозят его мать.

Но ей нечего им сказать.  
Не нужно было его убивать.  
Сейчас 72 девственницы  
Будут его ублажать,  
единоверцы – «Принцем  
Джихада» звать.

Лучше б ему перед *Судом*  
*Всего Мира* стоять!

#### БАД КИССИНГЕН 2014

Я прочту перед хлебом молитву  
В ностальгическом старом отеле  
Эден Парк примет нас и обнимет  
Хоть на время мы будем евреи

Великий Бисмарк здесь построил  
Усадьбу рядом с сонной Заале  
На красном кресле смастерили  
Весы мудреные с надеждой  
Что эти ванны помогают  
В Бад Киссингине похудеть.

В отеле «Виктория» Сисси  
Раз пять между прочим гостила  
Наверно все также хандрила  
Но воздух целебный хвалила  
Высоко на горе ее профиль  
На медной доске обозначен  
Там воздух и свеж и прозрачен...

Новостройки серебряного века  
Изумрудные крыши курзалов  
Отражает неспешная Заале  
Что порой разливается бурно  
Никогда здесь не падали бомбы

Доктор местный лечил Риббентропа  
Этим Бадом гордится Европа

Время золотых нарциссов  
Время сиреневых тюльпанов  
Время светло-зеленых листьев  
Время пения маленьких птичек  
Время неяркого солнца  
Это апрель в Бад Кисингене

### УТРО В ПРАГЕ

Утро в Праге.  
Паук плетет свою паутину.  
Франц Кафка,  
Приняв обличье инсекта,  
Стакан наполняет зектом.

Еврейский город проснулся.  
Мелькают длинные тени.  
Раввины в черных одеждах.  
Евреи живут надеждой.

Но вот растаяло время.  
Испанская синагога  
Стонет под гнетом туристов.  
Вокруг все пусто и чисто.

Топтанье по Карлову Мосту.  
Христос высокого роста.  
Летит над рекой Влтавой.  
Все были когда-то правы.

Жаль только, что на продажу  
Пошли и кресты, и звезды.  
Старинных зданий фасады,  
Скульптуры, дворцы, ограды...

Но лишь декораций чудо  
Задвинешь старым трамваем,  
Из сонных щелей повсюду  
Жизнь пыльная и скупая...

### СВЕТ

Мы были никем.  
Мы боялись собственной тени.  
Мы отрекались, мы писали  
Невесть что в наших  
Молоткастых, серпастых.

Мы стояли на одной ноге.  
Мы не верили никому.  
Мы не верили даже себе.  
Мы изменяли фамилии,  
Имена и отчества.  
Мы женились на русских,  
Мы крестились, молились.  
Просили прощенья,  
Но прощенья нам  
Не было и нет.  
Потому что евреи — это Свет.

Свет, который слепит  
Глаза остальных народов.  
Проявляет в них самое  
Худшее, злобу и зависть.  
Но высвечивает и благородных,  
Для которых, собственно,  
И живут евреи,  
Снова и снова открывая  
Закрытые двери.

Пока голубой глобус вертится,  
Говорят, все быстрее,

На нем, среди прочих наций,  
Были и будут евреи,  
Хотят они сами этого или нет,  
У них есть особая функция –  
Дарить людям свет.

## ВЕЙМАР

Весенний день – картина мира.  
Жизнь – пенье птиц. Земля в цветах.  
От чудных запахов эфира  
Уходят прочь тоска и страх.

О, Веймар, где истории приметы  
Нас манят, и внушают, и зовут.  
Как мудрости полезные советы,  
Нам Шиллер с Гете вновь преподнесут.

Но вдруг наткнешься на одну страницу:  
Здесь был ужасный лагерь Бухенвальд.  
Умолкнул гимн. Поют печально птицы.  
Мерещится смертельный карнавал...

Забыто все? Невинные в могилах.  
Сияют звезды молча с вышины.  
Но чьи-то души смотрят терпеливо  
О теплых днях несбывшиеся сны.

## Генриетта Ляховицкая

### ОТЪЕЗЖАЮЩИМ В ЭМИГРАЦИЮ

Решенья приняты, и наступили сроки,  
и в будущее вы устремлены...  
Отечеству не надобны пророки,  
и граждане не больно-то нужны.

Увы, всё правильно – извлечены уроки  
из прошлого безжалостной страны.  
Прощальные рыдания и строки,  
и паспорта уже навек сданы,

и вы вливаетесь в печальные потоки,  
России урождённые сыны,  
и вас питать иные станут соки,  
и сниться вам иные будут сны.

Так пусть сопутствуют вам благостные токи  
обетованной будущей весны!  
Последний вскрик, пронзительный и тонкий...  
Глаза детей спокойны и ясны.

1989 г.

### РОНДО КАПРИЧЧИОЗО

Расскажу вам без обману –  
мне рояль не по карману,  
я на скрипочке пиликаю,

непохожей на реликвию:  
*Фьюи-фьюи, фьюи-фьюи,*  
*хорошо на свете жить!*

Ничего, что мир огромный  
и немножечко погромный.  
От Китая до Америки  
разъютились наши жмеринки.  
В них сопливые детишки  
всё почитывали книжки,  
да поигрывали гаммы  
под приглядом доброй мамы,  
и с лучистыми глазёнками  
да со скрипочками звонкими  
вырастали мендельсонами,  
или с думами бессонными,  
что вселенною навеяны,  
просыпались энштейнами  
и с задумчивой улыбкою  
наклонялись над скрипкою:  
*Фьюи-фьюи, фьюи-фьюи,*  
*нелегко евреем быть –*

по освенцимам гореть,  
тяжким пеплом землю греть,  
и измученным-израненным  
обращать свой взгляд к Израилю,  
и в пустыне сад растить,  
на иврите говорить,  
размышлять над древней торою,  
продолжать свою историю...

А сметливые детишки  
всё почитывают книжки  
о любви и совестливости,  
о всеобщей справедливости,  
и склоняются над скрипками  
озаряя мир улыбками:

*Фьюи-фьюи, фьюи-фьить,  
хорошо на свете жить!*

## ДАРОВАНИЕ ТОРЫ

Срастается песок мгновений  
в сплошной овеществлённый наст.  
Тысячелетий тяжкий пласт –  
скупой источник откровений,  
но через толщу тысяч лет  
священный свиток древней Торы  
донёс до нас святой Завет,  
которому внимали горы.

Когда последний раб  
почувствовал свободу,  
Бог Тору даровал  
еврейскому народу.  
«Израиль, слушай!» –  
голос прозвучал  
и возвестил Завет –  
начало всех начал:  
*«Пусть будет Бог един средь Мира.  
Не сотвори себе кумира.  
Господне имя всуе не скажи.  
Субботе уваженье окажи.  
Отца и мать ты чти, не забывай,  
И никогда людей не убивай.  
Прелюбодейство, Кражу позабудь.  
Не лжесвидетельствуй,  
И завистлив будь –  
Не пожелай себе добра чужого».*

Первейшая духовная основа  
дарована в Божественных словах...  
Истёрло время в вечных жерновах  
вершины гор, царей, дела веков,

но Пятикнижие на сотнях языков  
всё озаряет тем же чистым светом –  
великим нестираемым Заветом  
с камней скрижалей – без черновиков.

## И В НОВЫЙ ИУДЕЙСКИЙ ГОД...

«Пусть будет лёгким год грядущий,  
в достатке будет хлеб насущный!» –  
бессчётно много лет – всегда одно моление,  
льют свечи тот же свет, и то же в нас волнение,  
и так же сладок мёд осенний на столе...

Мой маленький Народ рассеян по Земле,  
но слышит небосвод: «Пусть сладким будет год!»

## БЕРЛИН, ДЕВЯТОЕ НОЯБРЯ 1938

*Стихотворение написано в Берлине  
девятого ноября 1998 года*

Мне было полгода, всего-то полгода...  
Кто знает, какая стояла погода  
в тот первый из жизни моей ноябрь,  
но мёртвые листья с деревьев слетали  
и скорбными жёлтыми звёздами стали,  
пометив одежды: «Вниманье – еврей!»

Пристанища веры, извечно опальной,  
громили, зверя, той ночью «хрустальной»  
под звон и под хруст ледящий стекла.  
И тенью кровавою, огненно-чёрной  
накрыло весь мир этой ночью позорной...  
*Смогу ли поверить, что ночь истекла?*

## ЕВРЕЙСКИЕ ЖЕНЩИНЫ

Библейских красавиц особая статья,  
и поступь, и нежность, и сила,  
уменье прекрасною матерью стать...  
Природа им щедро дарила  
терпенье и мудрость, практический ум,  
достоинство, верность, сердечность,  
способность дарить в пору тягостных дум  
весёлой улыбки беспечность...

Еврейские женщины не без причин –  
на всё есть причины у Бога –  
взирают всегда свысока на мужчин,  
сидящих внизу в синагогах.

История всё продолжает свой ход,  
народы и страны сметает...  
Еврейская женщина вечный народ,  
как прежде, всё вновь созидает

## ХЛЕБ СВОБОДЫ

Тысячелетий прорезая тьму  
в бездонных недрах памяти еврея  
звучит поныне голос Моисея:  
*«Свободу дай народу моему!»*

Диаспоре стал домом чуждый край,  
меняются обличья фараона,  
но всё звучит, как и во время Оно:  
*«Народу моему свободу дай!»*

В дни Пасхи сдобы пышной не приму –  
опресноки дошли до нас сквозь годы.  
Суров и прост хрустящий хлеб свободы.  
*Свободу дай народу моему!*

## ПУЛЬС ИСТОРИИ

Тысячелетьями, а не веками,  
Восток и Запад тянутся друг к другу –  
туда, где стрелкой, обращённой к Югу,  
Израиль вклинён меж материками,  
когда-то бывшими единым целым.  
Связует он два мира и два моря,  
с самой судьбою непрерывно споря,  
пульсируя всем невеликим телом.

И не один пророк уже погиб там,  
и вечность там сжимается шагренью  
с библейских давних пор, когда мигренью  
залёг Израиль на виске Египта.  
И в сердцевине Иерусалима  
сошлись в раздорах языки и веры  
в извечных поисках добра и меры.  
Но жажда эта так неутолима...

## ПИР ВАЛТАСАРА

*Перевод с «исторического»\**

Драгоценные чаши нечистым вином наполняя,  
над святыми сосудами Храма чужого глумясь,  
валтасаровы гости пьянели и пели, не зная,  
что с кровавым похмельем уже установлена связь.

«Мéне, мéне...» – стена озаряется страшно, и сразу  
под неведомой твёрдой и неумолимой рукой –  
«тéкел» и «уфарсим» завершают таинственно фразу.  
Кончен пир, и теряет правитель свой сон и покой.

Иудей Даниил раскрывает той фразы значенье –  
предрекает она гибель царства, плененье и смерть.  
Лишь пророкам и смелость от Бога дана, и уменье  
предсказать властелину грядущую гибель посметь.

Всё «исчислено, взвешено» всё на весах неподкупных,  
истончается скверною Жизни непрочная нить,  
и «Отрезано!» – вдруг прозвучит на часах совокупных,  
и ничто бытие в суете не сумеет продлить.

\* См. *Ветхий Завет, Книга Пророка Даниила.*

## СУББОТА В ЭМИГРАЦИИ

Не зажигали мы свечей к Субботе,  
и в синагогу не ходили мы,  
и думали в субботу о работе,  
а не о Боге, но духовной тьмы,  
сказать по правде, мы не замечали.  
Запретом скрыты оставались дали  
для нас, привыкших к жизни за стеной,  
но годы шли, и стала жизнь иной.

Стараясь непривычною рукою  
два огонька зажечь в вечерний час,  
надеюсь душу обратить к покою,  
которому не обучали нас.  
Колеблются Субботы огоньки  
от дуновений воздуха свободы...  
Пытаюсь я в оставшиеся годы  
вступить в не иссякающие воды  
из Вечности струящейся реки.

## СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Где-то там, глубоко в подсознание,  
затаился неведомый чип.  
Кем он встроен? Какое в нём знание?  
Почему он так долго молчит?

Но однажды, ростком незаметным  
от него исходящая нить

свяжет душу с Народом Завета,  
чтоб Частицу с Единым сроднить.

И сколько я живу,  
и сколько буду жить,  
поёт и будет петь  
связующая нить.

## ЖИВЫЕ ПИСЬМЕНА

*Еврейский камень – письменный гранит\**  
из магмы вулканической рождён.  
В его узорах виден алфавит,  
которым был народ мой награждён.

Еврейские священны письма.  
Какой рукой начертаны они?  
Из древних свитков эти семена  
взойти сумели снова в наши дни.

Я радуюсь вневременной судьбе  
далёкого родного языка.  
Он, тайну вечную храня в себе,  
прошествовал сквозь страны и века.

Еврейское квадратное письмо –  
как мне хотелось бы его понять –  
всё, что оно с собою донесло,  
без перевода сердцем воспринять.

*\* Еврейский камень – письменный гранит – разновидность магматической породы – пегматита, в котором полевой шпат и кварц, прорастая один в другом, образуют структуру, напоминающую древние еврейские письма.*

## ЗАЧЕМ В ГЕРМАНИИ?

*Еврейский вопрос*

*Зачем я здесь? – в стране, где мой народ,  
к небытию навек приговорённый,  
сгонялся в безнадёжные колонны,  
с тем, чтоб вступить под крематорный свод,  
где, словно паранойей поражён,  
сумел прорваться к власти бесноватый,  
из-за кого черны от крови даты,  
и жутко то, к чему стремился он.*

*Но сгинул он, и не сыскать костей,  
а я иду Берлином обновлённым,  
вокруг меня старинные колонны,  
и здесь еврейских вижу я детей.*

## ДУХОВНОСТЬ

Ступенями изгнаний шёл народ,  
спускаясь в бездну горя и страданья,

но дух его стремился в небосвод  
и разрешал загадки мироздания.

## «АЛЕФ-БЕТ» ИСТОРИИ НАРОДА

Склониться над бездной и сразу отпрянуть,  
иначе затянет в последний прыжок.  
Истории древней горячая пряность  
охватит, навек оставляя ожог.

Священные буквы судьбы-алфавита  
хранить, словно в голод оставшийся злак.  
Вершинами звёздного знака Давида  
пронзить ненавистный скорюченный знак.

Страдания народа, и снова страдания –  
от Бога – избранья терновый венец?  
Не сдаться... Страдать, проходя испытанья,  
и в праздники их превращать под конец.

И в праздники эти всё так же, как прежде,  
колеблется время на вечных весах,  
глочечек вина – истомлённой надежде  
и горечь веселья в еврейских глазах.

И ЖИТЬ!

Неизменно протянута  
вечная, прочная *нить*  
между прошлым и будущим – *светит*  
многосвечником жертвенным – *тот*,  
постоянно приближенный *к смерти*,  
странный, маленький, древний *народ*  
с поражающей жаждою  
вновь возрождаться *и жить!*

## Анжелла Подольская

### «В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ, В НЕКОТОРОМ ГОСУДАРСТВЕ...»

Бася, сидя на скамейке, наблюдала за внучкой, которая играла в классы. «Ничего еврейского, – с сожалением подумала она. – Надо же, оба сына «взяли» русских. Еврейки им не интересны». Не то чтобы Бася была против... Нет... Но при общении с невестками она всегда чувствовала себя человеком второго, а то и третьего сорта.

– Подойди ко мне, – окликнула она внучку. – Смотри, из носа течёт. Высморкайся.

– Не хочу. Не буду. Отстань, – отмахивается та.

– Что за ребёнок! Всё – назло. Всё – «не хочу, не буду». Иди сюда, говорю.

– Не мешай играть, – не прекращает прыгать внучка.

Бася встаёт со скамьи, тяжело передвигая больные ноги.

– Дай нос. Что ты втягиваешь обратно соплю? Фу... Гадость какая. Ну, давай. Ну... Ещё раз. Вот так. Умничка. Видишь, так же лучше? Дай поцелую.

– Лу-чше, лу-чше, – растягивая слова, передразнивает девочка и вырывается из её рук. – Иди сядь, ты старенькая, можешь умереть.

– Ладно, – обиделась Бася.

Она возвращается к скамье. «Старенькая. Вот ещё. Всего семьдесят. А в душе ведь тридцать. Видела бы она меня молодой. Эх, если бы не ноги... Показала бы и невесточкам... И внукам...»

Двор ещё пуст. Будний день. Взрослые работают. Детвора учится. Скоро все сойдутся и начнутся «казаки-разбойники», «жмурки», переключка соседей, музыка. Сейчас тихо и ничто не мешает Басе предаваться размышлениям. «Конечно, семьдесят – не пять-

десять, и даже не шестьдесят. Что дальше? Рай? – на другое она категорически не согласна. – Там тепло. Поют райские птички. Нет ни евреев, ни русских, ни узбеков... Все, как один – равны. Те, которые, не грешники. Рай... Интересно, где же он находится. И Ад... Ой, брр... Не хочу об этом».

Взглянув на часы, Бася поднимается и направляется к внучке:

– Пойдём. Пора обедать и спать.

– Не буду. Не буду. Мне мама разрешила не спать.

– Твоя мама пусть командует у себя дома. Раз сегодня тебя ко мне привела, будешь делать то, что я велю.

– Не пойду, – отбежала внучка на другой конец двора. – Дого-ни, догони.

Бася еле сдерживает слёзы: «Чистое наказание». Она не любит привлекать к себе внимание, но вынуждена прокричать на весь двор:

– Ты слышишь меня? Подойди сюда.

– Не-а, – мотая головой, внучка выжидательно смотрит на Басю.

– Хорошо, оставайся одна. Я ухажу. Ты же слышала... По городу ходят цыгане и крадут маленьких детей. Знаешь, что они с ними делают? Оставайся, сама увидишь.

Бася отворачивается и, угловым зрением следя за внучкой, идёт к парадному. На лице девочки – растерянность. Потом она срывается с места и бежит вслед за Басей.

– Бабушка! Что делают цыгане с маленькими детьми? – Внучка с недоверием относится к Басиным историям, но сейчас любопытство будоражит её воображение.

– Пойдём, моя хорошая! Расскажу. – Бася берёт её за руку и они поднимаются в квартиру. – Сейчас буду тебя кормить. Ты ведь любишь куриные котлетки?

– Сначала расскажи про цыган, – не унимается девочка.

Бася уже не рада, что упомянула цыган, а не придумала что-ли-бо другое. Приносит из кухни миску и кувшин с водой:

– Вымоем руки. Мы же с тобой порядочные девочки.

– Ха-ха-ха. Девочки! – заливается внучка.

– Ну, вот видишь, я рассмешила тебя. Хочешь, расскажу тебе

сказку-быль. Только обещай, ты будешь есть котлетки, а я рассказывать.

– Давай, – снисходительно соглашается девочка, надкусывая котлету.

– Ну вот, – начинает Бася. – В некотором царстве...

– В некотором государстве, – подхватывает внучка...

– Мы так не договаривались. Ты ешь, я рассказываю. Так вот, много, много лет назад там родился мальчик. Его маму звали Марией.

– Как мою? – Перебила внучка.

– Как твою. Не отвлекайся. Мальчика назвали Иисусом. Очень хороший мальчик, послушный, умный.

– Как звали его папу?

– Ты снова перебиваешь. Мне трудно так рассказывать. Его папу звали... Неважно. Суть не в этом. Мальчик рос, хорошо учился. Много знал. Но однажды он поспорил со своими учителями. Они его наказали... Не знаю, был ли виноват мальчик? Он родился в еврейской семье, был евреем.

– Еврей? – Выплюнула котлету внучка. – Такой маленький... И уже жадный, хитрый? Все евреи очень плохие.

Бася оторопела:

– Почему? Кто всадил в твою маленькую голову такую гнусную ложь? Разве ты не знаешь, что твой папа еврей. И я. Ты наполовину еврейка.

– Врёшь, – расплакалась внучка. – Я не еврейка. Не хочу. И мой папа не еврей.

– Что здесь происходит?! – В распахнутых дверях комнаты стояла невестка. Из-за спора с внучкой Бася не расслышала, что кто-то из соседей открыл ей дверь. – Что это значит мама? Сколько раз я просила вас не забывать ребёнку голову всякой ерундой. К чему эти религиозные бредни? Наш Иисус никогда не был евреем... Смешно... Расскажите об этом «папе Карло».

– А кем же он был? – тихо спросила Бася.

– Не знаю, – смешалась невестка. – Кем бы ни был, но уж только не евреем.

– Я прекрасно осознаю, что не являюсь авторитетом для внучки, тем более для тебя. Но ты же ходишь в Церковь в Крещение

за святой водой. Или освятить на Пасху куличи. Спроси у своего батюшки, кем был Иисус. Библию открой. Евангелие. Там же всё написано.

– Какая Библия? Зачем мне эти глупости? Нас не этому учили в школе. Чуть несусветная. Так, собирайся, – скомандовала невестка дочери. – Мы уходим.

Когда за ними захлопнулась дверь, Бася заплакала. Она сжимала и разжимала кулаки, безмолвно разговаривая с собой, потом ещё с кем-то, подняв глаза к потолку.

– Ты слышишь меня? Слышишь? – Прижав руки к груди, ждала она знака от Того, кто был над всеми. Её монолог был требовательным, умоляющим, точно от ответа зависела жизнь.

И она услышала... Да, услышала... Тот, кто над всеми, поведал ей о смехотворности школьных учений... О зыбкости всего, что вокруг... О любви... О вере... Надежде, которая не умирает никогда.

## ЕВРЕЙСКИЙ БАЗАР

«Евбаз. Евбаз», – прокричала кондукторша. Ей нет никакого дела, что остановка давно уже переименована, да и «Еврейского базара» тоже нет.

Выйдя из трамвая, Маня подняла глаза и увидела в окне второго этажа старого деревянного дома Дору, соседку сестры.

– Ой! Кого я вижу! – умиленно приветствовала та Маню. – А ваших нету. Я видела, они сели на трамвай. Наверное, поехали на Сенной. Сегодня же пятница. Идите, идите, я открою. Подождёте у меня.

Маня не обрадовалась перспективе беседы с Дорой. Знала – та посвятит её во все подробности и своей жизни, и жизни многонаселённой квартиры. Войдя во двор, Маня поднялась по кривым ступенькам на некое подобие веранды, где на табурете сидел Додик, муж Доры. Брюки его были подогнуты до колен, а голые ноги опущены в миску с водой, в которую он подливал кипяток из чайника.

– Наше – вам, – поздоровался он с Маней. – Доба, – так он величал жену, – запретила парить ноги в комнате. У неё уже всё го-

тово к Субботе. А я могу наляпать на пол. Ей Шабат важнее, чем здоровье мужа.

– Ты уже открыл свой рот? Мый ноги, – в проёме открывшейся двери стояла Дора. – Ой! Какое у тебя платичко! Сама сшила?

Маня кивнула и прошла вовнутрь. Она не помнила, чтобы переходила с Дорой на «ты»:

– Я обожду на кухне, не беспокойтесь. – Прошла и решительно села у плиты, на которой всегда готовила еду сестра.

– Ну шо за новости? Я вот всё думаю: ты – чёрненькая, а Розка – блондинистая, с голубыми глазами. Вы от одного папки?

– Дора, я вас разочарую, от одного.

– Так не бывает, – упорствовала Дора и в своих подозрениях, и в «тыканье». – И Шабат твоя сестра не отмечает, и свинину они кушают. Какие же они евреи? А ты отмечаешь Шабат?

– Нет, в нашей семье не принято было.

– Ага! Зато с радостью встречаете седьмое ноября, «красный день календаря». И по паспорту, ты: Мария, – констатировала Дора. – Ладно, скажи, а как ты переносишь вытачки? – она неожиданно сменила тему. – Я вот знаю, как по классически, подмышкой. А если в талию? То как это надо? А крепдешин ты в куках брала?

– Крепдешин покупала в «Тканях» на Крещатике. И объяснить вам перенос вытачек на словах не смогу.

– На Крещатике... – разочарованно произнесла Дора. – Я позволить такое не могу. Мне ораву кормить нужно. Додик не партиец, как твой. Это у тебя и квартира самостоятельная в самом центре, на Софиевской, и сыновья в Автодорожном учатся. Вот мой Матвей «взял» себе шиксу, так на свадьбу нас с Додиком даже не позвал. Стыдно ему от нас. А Шурочку, внучку, приводит. Это ему не стыдно. А младшенький, Марик! Работать не хочет, ему бы цельный день в шахматы резаться.

– «Режутся» в домино, шахматы – интеллектуальная игра. Ваш сын может быть станет гроссмейстером. Роза рассказывала, что он очень способный мальчик.

– Какой такой «мейстер»? Профессию нормальную получить надо. Вот ты на метраж ткань берёшь, а я – в обрезках. И выгады-

ваю: там оборочка, там, вроде, ложная складочка или гесточка\*. Могу и баску пришпандорить. Из старого халата шью наволочку. Из рукавов – кухонные полотенца. А тут, на днях, пришла заказчица: отрез принесла. Костюм заказала.

– Вы берёте заказы, не зная правил переноса вытачек? – От изумления у Мани округлились глаза.

– Ну и шо? Знаешь, как я крою? Боюсь «зарезать» ткань и делаю большие запасы. На примерке подгоняю.

– Боже, – произнесла Маня. – Могу себе представить этот костюм.

– Слушай, Маня! А, может, ты мне раскройшь? Я тебе рубль дам.

– Дора! Я знала, что вы дама предприимчивая. Но не настолько же. Я и курсы закончила, но шью только себе. Чужую ткань боюсь «зарезать». Ладно, пойду. Передайте Розе, что я заходила.

Выйдя на улицу, Маня пошла вверх по направлению к Сенному рынку. На душе был горький осадок от беседы с Дорой: «Да, конечно же, триумф безвкусия, комичности, абсолютного мещанства. Но жаль её». Маня чувствовала себя в чём-то виноватой и перед Дорой, и перед сестрой... В этих старых домах, мимо которых она шла, тоже всё, наверное, как всегда. И перед его обитателями она чувствовала свою вину. «Да что же это, в самом деле? Перед всем миром она виновата? За свою, более благополучную жизнь? Вот и с сестрой, когда встречается, та «держит» паузу, как хорошая актриса. И встречи их становятся всё реже и реже... Тут нет ничьей вины. Тут – судьба...»

Дойдя до рынка и не встретив по дороге сестру, Маня прошла до Львовской площади и с облегчением села в троллейбус в направлении дома.

\* Кокетка.

## Яков Раскин

### НАФТАЛИ ИЛИ НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

Нет сегодня человека в Израиле, который не слышал бы о бухарских евреях.

Но кто они такие? Откуда взялись? Сами они считают себя потомками уведенных в 722 г. до н.э. ассирийцами пленённых израильтян, которых поселили в местности Хадор, отождествляемом бухарскими евреями с Бухарой. Вот уже более двух тысяч лет их община сохраняет свою обособленность, не смешиваясь, за редким исключением, с другими народностями. Проживали они, в основном, в своих домах с двориками, без каменного снобизма панельных новостроек, где люди при встрече едва здороваются друг с другом. Их дворики были уютными, шумными, пыльными и бесконечно живыми, а жители при встрече улыбались, расспрашивая о детях, здоровье, делах.

Нужно заметить, что именно выходцы из Бухары, приехавшие в подмандатную Палестину ещё в 20-30 годах прошлого столетия, а позже и их потомки, владеют и управляют знаменитой тель-авивской бриллиантовой биржей, вокруг которой выросли многочисленные фабрики по обработке и шлифовке алмазов.

Случилось так, что один из таких фабрикантов, Ханан Беньяминов, в конце 80-х годов встречал в аэропорту племянницу Мирьям с семьёй, приехавших в Израиль из Бухары на постоянное место жительства. Всё было бы хорошо, если бы не одно обстоятельство: муж племянницы, Анатолий, был русским. И это в окружении, строго соблюдающем еврейские традиции. Свой выбор эмансипированная Мирьям объясняла тем, что она вышла замуж по любви и ей чужды религиозные предрассудки.

После вечерней молитвы и обильного ужина, когда женская половина хлопотала по хозяйству, мужчины уселись в саду за чашкой чая и вели неторопливую беседу, расспрашивая новых репатриантов о жизни в Бухаре, о своих знакомых и вообще обо всем. Выяснилось, что у Анатолия нет конкретной специальности, пригодной в Израиле. Это вызвало озабоченность родственников. Что с ним делать? На семейном совете было решено обучить его шлифовке бриллиантов на алмазной гранильной фабрике, принадлежащей Бенъяминову.

И вот настал день, когда Анатолий впервые перешагнул порог фабрики. К его удивлению, прежде, чем приступить к работе, работники облачились в талиты, повернулись лицом к восточной стене и стоя, раскачиваясь и кланяясь, произнесли утреннюю молитву «Шахарит». Лишь он продолжал сидеть, не понимая ни слова

По просьбе хозяина, премудрости новой для него специальности взялся обучать его высококлассный специалист, тоже выходец из Бухары, шутник и балагур Нисим.

Чтобы Толик не выглядел «белой вороной» среди рабочих, дядя попросил его приходить на работу в кипе и «молиться» вместе со всеми. Так он и простаивал всю молитву у стены, шевеля губами, и делал вид, что молится, однако уже через несколько дней Анатолий попросил написать слова молитвы русскими буквами и громче всех её читал, обращая на себя внимание, не понимая, однако, содержания.

Так прошло несколько месяцев. Молитва - молитвой, но в гранильном деле, к удивлению Ханана, Анатолий оказался очень способным учеником и уже самостоятельно качественно производил огранку алмазов.

Постепенно Анатолий стал своим в коллективе, а утренняя молитва не казалась ему уже чем-то необычным.

Но... пришло время, и он задался вопросом: о чём они, а теперь уже и он сам, говорят? Толик попросил перевести текст на русский язык. Ему перевели и тогда он, молясь, осмыслил «СЛОВО»!

Родственники жены ещё продолжали поглядывать на него искоса, в разговор с ним особо не вступали, ограничиваясь словами «да» и «нет», и продолжали за глаза осуждать Мирьям.

Как-то за ужином дядя Ханан предложил ему пройти «гиюр», чтобы никто ни на фабрике, ни в семье не тыкал в него пальцем и тайком не насмеялся над хозяином, пригревшим в уважаемой семье гою. После некоторых колебаний Толик дал согласие и прошел все «круги ада»: совершил обряд обрезания, выучил все молитвы, научился читать Тору. Затем, по совету раввина, изменил свое имя на библейское: Нафтали и стал, как он сам считал, сто процентным евреем

Как и все новообращенные (геры), Нафтали стал неистово молиться, а вслушиваясь, как молитву произносят рабочие, стал их поправлять, требуя досконального и точного произношения текста, на что Нисим сказал:

– Хохем из местечка еле тянет на поца в большом городе.

Дома Нафтали стал строго следить за соблюдением всех предписаний иудаизма. Прежде всего выбросил всю посуду, а вновь купленную разделил на молочную, мясную и пасхальную. При покупке продуктов придирчиво осматривал упаковку на предмет кошерности. В редко проветриваемой квартире стоял тяжёлый запах свечей. Суббота соблюдалась неукоснительно, телевизор никогда при нём не включался, а от жены, согласно традиции, требовал коротко стричь волосы, носить парик и чулки в любую погоду. Сам же Нафтали отрастил бороду, пейсы, стал носить широкополую шляпу и чёрную одежду ортодоксов. Всё своё свободное время он посвящал изучению Торы. В его некогда покладистом характере начал проявляться деспотизм.

Мирьям, как могла, боролась с предрассудками, но ни постоянные скандалы, ни слёзы её и детей не помогали.

Как-то, после вечерней молитвы, Нафтали, пристально глядя на свою жену, вдруг сказал:

- Мирьям! Я хочу сказать тебе что-то очень важное!
- Я слушаю, – почувствовав тревогу, тихо произнесла Мирьям.
- Мы должны с тобой развестись!
- Что? Почему? А как же дети?
- Я не могу простить тебе того, что ты сделала!
- А что я сделала? Я не совсем понимаю, о чем ты говоришь?
- Как ты вообще могла даже ПОДУМАТЬ выйти замуж за гою?!

## РЕБ НОХИМ

*Памяти Михаила Верника*

Как, вы не были знакомы с реб Нохимом? Да его знали все в местечке и далеко за его пределами. Ну, хорошо. Я расскажу вам о нём, только не перебивайте. Сегодня таких евреев не найти, вообще-то евреи есть, но не такие – время другое.

Мой дед славился в местечке учёностью. Помимо иврита и идиша знал химию, математику, русский язык и литературу. Даже владел двумя европейскими языками и был единственным в местечке, кто мог прочесть и разъяснить написанное по-русски казённое письмо, и не брал за это ни копейки. Мне рассказывал мой родственник, что у реб Нохима была самая большая библиотека в округе, насчитывающая более тысячи томов на русском, идише и других языках. Его неоднократно просили передать её в дар государству, но дед не соглашался, однако время само расставило все точки над «і», к концу жизни оставив ему лишь несколько старых изданий русских классиков.

До революции дед зарабатывал свой хлеб домашним учителем (меламедом) в богатых еврейских домах, вкладывая в мозги ленивых и упитанных еврейских детей древнееврейский язык и арифметику, а в свободное время рассказывал им мансы из Торы. Почему дети были упитанными? Да потому, что еврейские мамы считали, что «худой ребёнок – больной ребёнок». Но я что-то отвлекаюсь от темы.

Так вот! Дед рассказывал, что местечко, где он родился, было почти сплошь еврейским, а из иноверцев было несколько семей старообрядцев и соседская семья урядника, с единственным сыном которого, Федей, он дружил всю жизнь. Федя обучал его русскому языку, а реб Нохим Федю – идишу. Так они и общались, не замечая, как переходили с одного языка на другой. Да что там Федя! Даже сам урядник и некоторые старообрядцы знали идиш не хуже евреев.

Однако, реб Нохима уважали не только за учёность. Он был ещё единственным в местечке и округе специалистом по окраске

тканей, проще говоря, красильщиком. Одна из комнат дома дедушки была оборудована под красильню. В русскую печь, рядом с которой постоянно стоял мешок с солью и лежали поленья дров, был вмурован огромный котёл, в котором день и ночь что-то кипело и бурлило. Вы помните, как вернувшиеся с войны фронтовики долгое время ходили в солдатской форме, и в местечке преобладал надоевший всем защитный цвет «хаки». Вот тут к ним на помощь и приходил реб Нохим. Наблюдая за покраской, он что-то подсчитывал в уме и неотмывающимися от краски руками досыпал в котёл соль. Затем то, что кипело, вытаскивалось, полоскалось и вывешивалось во дворе. Двор напоминал паутину, на которой в беспорядке висели гимнастёрки, шинели и прочая одежда, окрашенная в чёрный цвет. Создавалось впечатление, будто у деда на постое находилась чёрная сотня какого-то атамана. Дед хорошо зарабатывал, но нужно отдать ему должное: тем, кто не мог уплатить, тому он красил бесплатно, объясняя свои поступки цитатой из Талмуда:

– Эцель бен адам эйн эфшарут лаасот ле кулям маамасим то-вим, аваль ешь эфшарут ло лаасот маамасим раим. (У человека нет возможности всем делать добро, зато у него есть возможность никому не причинять зла).

Все потаённые места в доме, куда можно было что-то спрятать, были напичканы красками, порошками, какими-то цветными камнями. Дом напоминал лабораторию средневекового алхимика со старинных гравюр, где реб Нохим в полумраке растирал куски окаменевших красок, смешивал их и надписывал на упаковке что-то по-еврейски. Часто он забывал, где что лежит, и если нужно было найти краску определённого цвета, дом переворачивали вверх дном. В воздухе витало облако, состоящее из пылинок разного цвета, словно депутаты съезда от каждой партии. Домашние чихали, сморкались в платок, отчего он окрашивался в цвет вдыхаемой пыли. Стоило только провести пальцем по какому-нибудь предмету, как палец мгновенно становился цветным.

Я с нетерпением ждал того дня, когда бабушка Двойра, слышавшая в местечке как «Двейра-лекехбакерке», подавала на обед «концертный» молочный суп. Вы не знаете, что такое «концерт-

ный суп»? Сразу видно, что вы никогда не были на обеде у реб Нохима. Что ж, я приглашаю вас на первое отделение, только прошу сидеть тихо, и наденьте, пожалуйста, шапку.

Я опускаю ложку в тарелку с белоснежным супом, и вдруг на поверхности непонятно откуда появляются несколько маленьких точек, которые неожиданно оживают и, словно в броуновском движении, стремительно несутся, обгоняя друг друга, натываются на края тарелки и отскакивают, окрашивая на своём пути молочный суп во все цвета радуги. Это придавало ему оригинальность цвета и вкуса. Но привыкшие к такому «концерту» домашние спокойно ели свой суп, не обращая на это внимания.

Ежедневно после обеда реб Нохим доставал тяжёлый фолиант Талмуда в кожаном переплёте и, усевшись поудобнее в кресле, начинал читать, одним ухом слушая радио-тарелку, часто засыпая во время чтения. Неожиданно он просыпался, чтобы смачно плюнуть в сторону радио, что явно указывало на его несогласие с генеральной линией партии. Мне же он постоянно твердил, что «Ейб дер коммунизм из гевен зо гут, американен шон ланг гекент койфен ем фор долларен» (Если бы коммунизм был бы так хорош, американцы давно бы купили его за доллары).

Но особую радость мне доставлял базарный день. В толпе сновали бородатые евреи, будто сбежавшие из рассказов Шолом-Алейхема. Они до хрипоты кричали, торгуясь, размахивали руками, плевались, сто раз уходили и сто раз возвращались, доводя до изнеможения продавцов. Им уступали, лишь бы они исчезли. Выбравшись из толпы с оторванными пуговицами и вытирая пот рукавом, они радостно вручали сторгованный товар жёнам, в уме подсчитывая сэкономленную сумму. Глядя на них, дед говорил, качая головой: «Ди гелт из балейгт ди вердес дем менч, велхе андерс кен мен нит бамеркен» (Деньги освещают достоинство человека, которое иначе можно было бы не заметить).

У реб Нохима был маленький стульчик и большой, похожий на мольберт, ящик с отделениями, где лежали пакетики с красками. Мне было интересно наблюдать, как крестьяне из окрестных деревень покупали модную в их деревне бурого цвета краску со смешным, иностранным названием «негрозин», которую я ассо-

циировал почему-то с неграми. Дедушка просил никому это не рассказывать, но поскольку он давно умер, а я принимал в изготовлении краски непосредственное участие, то имею право рассказать вам, зная, что вы всё равно без него красить ничего не сможете.

– Когда Бог разрешает твои проблемы, ты веришь в ЕГО способности. Когда Бог не разрешает твои проблемы, Он верит в твои способности, – часто повторял он, как бы оправдывая этим свои действия.

В сарае реб Нохим стелил газету, давал мне два обыкновенных кирпича, и я должен был растирать их в пыль. Эта кирпичная пыль была точно такого же цвета, как краска «негрозин». В пропорции, которую знал только дед, она смешивалась с настоящей краской и упаковывалась, как порошки в аптеке. Оригинальная же краска была французская, явно контрабандная, на этикетке которой был изображён петух с распущенным цветным хвостом, очень похожий на петуха из нашего двора по кличке «Казанова», которого соседка Циля за небольшую плату сдавала в наём для улучшения куриного генофонда.

А вы знаете, как дед продавал пакетики с краской? Тоже не знаете? Я что, должен вам бесплатно рассказывать все секреты? Идите и купите билет на второе отделение «концерта», и я вам расскажу. Только последний раз и больше не просите.

Например, покупатель хочет убедиться, что это именно тот цвет, который ему нужен. Вот тут-то и кроется секрет. Дед лез в карман и доставал оттуда обыкновенный гвоздь. Вы что, думаете, что этим гвоздём он хотел кого-то прибить? Боже, сохрани! Этим гвоздём он протыкал бумажную упаковку, смачно плевал на ладонь, вымазывал в этом плевке гвоздь, на котором оставалась немного прилипшей к нему краски, смешанной с кирпичной пылью, и указательным пальцем другой руки растирал. Ладонь окрашивалась именно в тот цвет, который был в упаковке и удовлетворял покупателя. Реб Нохим объяснял технологию крашения в домашних условиях, и довольный покупатель уходил, оставляя деду взамен денежные знаки. Пряча их в карман, дед произносил свой любимый постулат:

– Фун амольке цайтен, вен ди менчен уйзгетрахт гелт, але андере денкен хобн кайн верт гехат. (С тех пор, как древние финикияне выдумали монеты, остальные виды благодарности обесценились!) И запомни, майн кинд: «чрезмерная честность граничит с глупостью».

Но для меня главным «героем» базара оставался сосед дедушки по торговому ряду – Моисей Азимов, появления которого я ждал с нетерпением. Этот старик с библейским лицом и красивой бородой был, пожалуй, единственным в местечке специалистом по изготовлению мороженого. Как, вы не пробовали азимовского мороженого? Так вы что, не из нашего местечка? Мне таки жаль, что убил на вас столько времени. Но так и быть, я вам вкратце и об этом расскажу, но только действительно последний раз.

Ранним утром, когда все торговцы раскладывали товар, появлялся со своей тележкой на резиновом ходу Азимов. Подложив под колёса пару камней, он, облачившись в белый халат, словно доктор, произносил молитву и открывал крышку алюминиевой бочки, обложенной льдом с древесными опилками. Глядя мне в глаза, клал круглую вафельку на формочку, похожую на ручную гранату, на неё специальной ложкой мороженое, накрывал другой вафелькой, выдавливал и торжественно вручал мне первую порцию. Этим жестом он подчёркивал своё уважение к реб Нохиму, добавляя, что если первую порцию съест его внук, то есть я, то, по его примете, торговля будет удачной. Ах, какое это было мороженое! Этот вкус преследовал меня многие годы. Сегодня в продаже тысячи сортов мороженого, но все они – жалкое подобие азимовского.

Мне рассказывали старики, что до революции азимовское мороженое имело такую же известность, как смирновская водка и швейные машинки Зингера. Но я опять отвлёкся.

Я же обещал вам рассказывать о реб Нохеме, а Азимов к нему не имеет никакого отношения, за исключением того, что раз в неделю они встречались в синагоге, куда с наступлением субботы я приходил с дедом. Там я должен был прочитать на древнееврейском языке благословение на вино, за что мне подносился стакан сладкого ситро, поскольку вино было дорогим удоволь-

ствием, и не по карману евреям, и так с трудом сводившим концы с концами. Цокая языком, они внимательно слушали молитву и говорили реб Нохиму, что у него «а геротенер ейникел» (уродившийся, талантливый внук). Меня всегда поражал тот факт, что для того, чтобы быть «геротенем», нужно было выучить только одну молитву. В канун Судного Дня (Йом Кипур) реб Нохим, глядя на молящихся прихожан, сказал:

– Ди менчен зеер мишуне. Ганце ёр зей махен эйнер дем андере миескайт, абер ди фаргебунг бетен зи бан Гот. (Люди – странные существа: целый год делают друг другу гадости, а прощения просят почему-то у Бога).

Однажды, когда я задержался допоздна у одноклассницы, решая вместе задачи по алгебре, за мной зашёл обеспокоенный моим долгим отсутствием дедушка и встал у порога, как вкопанный. Несколько минут он стоял молча, затем схватил меня за руку и, не попрощавшись с хозяевами, быстро вышел на улицу. Когда я спросил, что с ним, он ничего не объясняя, попросил меня больше никогда не заходить в этот дом. Только через некоторое время, уступив моей настойчивости, он рассказал, что в той комнате, где мы находились, он узнал принадлежавшие ему до войны два венцианских зеркала.

Беда пришла в начале пятидесятых. С обыском нагрянули сотрудники финотдела НКВД, забрали лежащие в сундуке выпачканные в краске пачки денег, аккуратно перевязанные шпагатом, а в печи под котлом нашли ученический пенал с золотыми монетами. Перепачкавшись в краске, конфисковали религиозную и светскую литературу, добавив туда, непонятно почему, мой учебник «Родная речь», погрузили всё в машину и уехали. К счастью, деда дома не было: кто-то успел его предупредить, и он скрывался у своего друга Феди. Вернулся реб Нохим домой только через несколько месяцев, после того, как его племянница Роза, дрожа от страха, ночью сунула прокурору английский шерстяной отрез на костюм. Дело было закрыто, но от этого потрясения дед уже не смог оправиться.

Доживал реб Нохим свои дни в нищете и в одночасье умер. Старинные французские настенные часы, его гордость, внезапно

остановились в момент смерти. Провожать реб Нохима в последний путь пришло всё местечко. Все дни «шивы» (траура) с нами просидел приехавший на похороны его старый друг Федя. Смахивая слезу, он успокаивал бабушку, говоря с ней на идише о своём друге хорошие, тёплые слова. Если бы реб Нохим знал, как всё сложится после его ухода, он, может быть, задумался бы на секунду, чтобы сказать свою замечательную фразу:

– Нит едер ейникел ендлих аф зайн зейдн, абер еде зейде виль хофн ауф дем. (Не каждый внук похож на своего деда, но каждый дед мечтает об этом!)

Сегодня мало кто помнит реб Нохима, но те, кто хоть раз посещал еврейское кладбище в нашем местечке, видели, как на самом почётном месте, рядом с могилами известных раввинов, стоит памятник, на котором написано, что установил его «геротенер» внук! Глядя на памятник, я вспоминаю замечательного человека – моего деда и шепчу: «Шалом, реб Нохим! Я на тебя похож. Я с тобой!»

## СВАДЬБА В КАЛИНОВКЕ

Говорят, что эта история случилась лет сто назад, а, может, и больше, в местечке под названием Калиновка... а, впрочем, какая разница, где это произошло. Она могла произойти в любом местечке, а то, что эта история действительно произошла, спросите у любого её жителя.

Симха, так звали нашего героя, что в переводе с еврейского означает «праздник, радость» от своих сверстников отличался статью, а в остальном – такой же бедняк, как и все. Многие девушки местечка стояли чуть ли не в очереди, чтобы отдать ему своё сердце, но Симха вежливо отказывал, говоря, что его невеста ещё не родилась. Зарабатывал он на жизнь тем, что ходил по дворам с точильным станком на мускулистых плечах и громко по-еврейски кричал:

– Их шлайф мессер, шерл, гак и за деньги, и за так! (Точу ножи, ножницы, топоры).

Ну, ножи, ножницы – это ещё можно понять. Бритвы – реже, поскольку в местечке был всего один парикмахер, а большинство евреев вообще никогда не брились, отращивая, согласно религии, бороды и пейсы, но топоры! Зачем еврею топор? Если нужно порубить дрова, так звали вечно пьяного шабес-гоя Степана и тот за четверть водки своим колуном в пьяном угаре мог порубить не только дрова, но и сам дом вместе с жильцами.

Однажды, когда Симха точил кому-то кухонный нож, он увидел, как из покосившегося дома портного Эпштейна, приветливо ему улыбаясь, вышла его дочь Голда с ножницами в руках. Как-то раньше он её не замечал, может, оттого, что она была тогда ещё ребёнком, но сейчас перед ним предстала красавица с высокой грудью, тонкой талией и длинными, кудрявыми волосами. Он долго держал её ножницы в руках, не отводя глаз. Симха влюбился!

Его ничего, кроме Голды, не интересовало. Он ею жил, она ему снилась, её звонкий смех постоянно звучал в его ушах. Во сне Симха её обнимал, целовал, но когда просыпался, ощущал вокруг себя пустоту и несчастнее его не было человека на свете. Мать много раз пыталась узнать причину столь необычного для него состояния, но безуспешно. Своё горе он носил в себе. Соседи портного недоумевали, поскольку не могли понять: зачем Симха постоянно ходит во двор, где все ножи давно были наточены?

Он также стал частенько заходить к портному то что-то починить, то перешить, лишь бы ещё раз увидеть свою возлюбленную. Пробовал даже несколько раз намекнуть её отцу о своём серьёзном намерении, но отец деликатно отказывал, мотивируя тем, что она уже засватана, а женихом стал единственный сын богатого мясника Залмана – известный на всё местечко кунилемел (недалёкий и глуповатый человек), его тёзка – тоже Симха. Служка синагоги Шлойме, усмехаясь в рукав, говорил, что он такой умный, как «беркины штаны, вывернутые наизнанку», а кто-то в Калиновке дал ему меткое прозвище: «эпель-фряске». Вы не знаете, что это такое? Представьте себе выражение лица неподвижно стоящего человека, жующего яблоко, и не моргающими глазами смотрящего в одну точку. Мужская половина Калиновки сочувственно качали головой, наблюдая, как Залман, направляясь в синагогу, дер-

жит сына за руку, а мнение женской половины Калиновки было однозначно: это большое несчастье иметь такое счастье.

Несколько раз Голда со слезами на глазах пыталась поговорить с отцом, уверяя, что любит другого Симху – Симху - точильщика, но отец был непреклонен, мотивируя своё решение тем, что такой красавице голодранец не пара. Против воли отца она не могла пойти, а его решение было однозначно: Голда выйдет замуж за сына мясника, даже если он ей не нравится; мол, хорошее финансирование со стороны мясника очень быстро их сблизит.

Как известно, распоряжается браками только Бог и никто не может самостоятельно решать свою судьбу, не посоветовавшись с ним. А он лучше всех знает, кого и с кем паровать.

Здесь я позволю себе сделать небольшое отступление и сообщить о маленькой, но очень важной подробности.

Дело в том, что нашего героя звали Симха Кофман, а сына мясника – Симха Копман. Улавливаете разницу? Нет? Никакой ошибки или опечатки здесь нет. Они даже не были родственниками. Самое интересное в этих фамилиях было то, что по-еврейски буквы «П» и «Ф» пишутся совершенно одинаково, что в дальнейшем будет иметь важное значение для нашего героя.

Итак, Калиновка готовилась к свадьбе!

В синагоге и на базаре только и разговоров было о предстоящем бракосочетании. Портнихи день и ночь шили наряды, были приглашены лучшие поварахи, которые должны были поразить своими кулинарными изысками многочисленных гостей. Но всех удивлял отец жениха, – мясник Залман, носивший титул самого жадного человека в Калиновке. На этот раз он с лёгкостью тратил деньги, будто был не Залман Копман, а заезжий гуляка, проматывающий состояние родителей.

И вот настал день свадьбы. В большом дворе мясника была сооружена хупа (свадебный балдахин) и расставлены столы буквой «П». Именитые гости заняли почётные места и ждали начала обряда бракосочетания. Симха-точильщик с друзьями тоже пришли и стояли рядом с хупой. Наконец, родители ввели новобрачных, и сонный, полуслепой раввин голосом, напоминающим скрип несмазанного колеса телеги, прочёл первую молитву. Жених с от-

сутствующим взглядом стоял под хупой, явно не понимая, зачем и с какой целью его вообще здесь поставили, и в тот момент, когда раввин отвернулся, чтобы взять в руки ктубу (брачный договор), Симха-точильщик подскочил к жениху и со словами:

– Шлимазл! Ну, кто так стоит под хупой? Смотри, как это надо делать! – вытолкнул жениха из хупы, который тут же попал в крепкие руки друзей, и сам встал на его место. Всё, что произошло в дальнейшем, заняло всего несколько секунд.

Гости, обступившие хупу, в недоумении переглядывались, ожидая продолжения. Голда, увидев рядом с собой своего возлюбленного, улыбнулась, глаза засветились счастьем, и её рука крепко сжала руку Симхи. Родители жениха, потеряв дар речи, остолбенели. В эти несколько секунд мир перевернулся и события приняли совершенно другой оборот. Раввин, не обративший внимание на подмену, начал читать «ктубу», где стояли фамилия и имя, которые можно было отнести как к прежнему, так и к новому жениху. Симха-точильщик и Голда скрипучим голосом раввина были торжественно объявлены мужем и женой, после чего новый жених по окончании обряда быстро разбил бокал, и все закричали «Мазлтов!»

Громко грянул клезмерский оркестр. Несмотря на то, что многие недоумевали по поводу происходящего, согласно еврейскому закону обряд бракосочетания состоялся, поскольку в брачном договоре действительно стояла фамилия Кофман.

Родители новобрачных, осознав случившееся, одновременно упали в обморок, и усатая повитуха Песя, слышавшая медицинским светилом Калиновки, по очереди прикладывала к их вискам тряпочку с уксусом. Половина гостей искренне радовались произошедшему и, воспользовавшись суматохой, принялись на всякий случай быстро выпивать и закусывать. Вторая же половина молча стояла в недоумении, думая, что это заранее отрепетированный кем-то спектакль. Что ж, как говорят в народе, спектакль удался!

Вот такая история произошла в Калиновке. Если вы мне не верите, то поезжайте туда и спросите кого угодно. Адрес я вам дам. Почему не дать, если у вас появилось желание ещё раз услышать эту историю?

## ФЕНИКС ИЗ КАРХОВКИ

Город немцам сдали почти без боя и, наверное, потому первые дни и недели прошли сравнительно спокойно. Правда, на площади снесли памятник вождю и повесили пятерых, среди них – директора сельхозтехникума и секретаря райсовета, но, скорее, не потому, что они были евреями, а потому, что были активными партийцами. Повыгоняли евреев с руководящих должностей и из разных учреждений, детей из школ, на двери синагоги навесили большой замок, но до поры до времени этим и ограничились. Городские власти состояли из военного коменданта, трёх-четырёх офицеров, взвода охраны, поста фельджандармерии и привезённого откуда-то бургомистра – подагрического, но ещё шустрого старичка с козлиной бородкой и в неприменной украинской «вышиванке». Набрали было полицаев из местных, но то ли они оказались неспособными к службе, то ли полного доверия к ним не было, только некоторых разослали по домам до особого распоряжения, а с Закарпатья прибыло несколько полицаев «западенців» из карательного батальона. Держались они обособленно, служили не за страх, а за совесть, говорили на непонятном языке, и в разговоры ни с местными полицаями, ни с местным населением не вступали.

С начала октября по приказу коменданта и бургомистра горожане еврейской национальности – стар и млад – обязаны были носить жёлтую шестиконечную звезду. Выходить в город разрешалось только «полезным евреям» и по специальным удостоверениям. За нарушение – смертная казнь на месте. Мужчины уходили чуть свет на работы, возвращались затемно, приносили, когда буханку хлеба, когда горсть крупы, кормовую свеклу, несколько картофелин, капусту. Иногда удавалось выменять золотое кольцо или часы на муку, но частенько несчастных обманывали, подсывая вместо муки обыкновенный мел.

В январе, на Крещение, вышел новый приказ коменданта. На сборы дали ночь; разрешалось взять ценные вещи и что-либо из одежды. Все входы и выходы перекрыли патрули. Мало кто ждал самого плохого, а если и так, то держали эти мысли при себе. Го-

ворили, что их наверняка повезут в какое-нибудь другое место, а когда кончится война, они вернуться домой. Вот только одеться надо потеплее, чтоб, не дай Бог, дети не простудились. На расвете собрались у синагоги. Когда всех построили и пересчитали, оказалось их 950 человек – мужчин и женщин, стариков и старух, девочек и мальчиков. Немцы и полицаи вели себя на удивление вежливо: никого не били, не грабили и даже не ругались, просто стояли, как вкопанные, согреваясь на морозе куревом и глотком-другим шнапса. Колонна чёрной змейкой растянулась их конца в конец улицы. Некоторых стариков, которые не могли передвигаться самостоятельно, детей и больных везли на повозках, над которыми были прикреплены плакаты с надписью: «МЫ ЕВРЕИ И ДОСТОЙНЫ СМЕРТИ». По сторонам стояли люди. Стояли и молчали, глазами провожая тех, с кем испокон веков жили рядом. Здесь они родились, выросли, женились, работали, растили детей и должны были умереть в своё время и своей смертью. Одни дружили с ними или только уважали, другие их не любили или презирали, но сейчас не было злорадства, только страх за себя и равнодушие других. Лишь кто-то один выкрикнул из толпы: «Ах, жида проклятушие!», но его, видимо, одёрнули и крик оборвался. Колонну повернули по направлению к железнодорожной станции, и тогда все поверили, что их не убьют, а увезут в другой город.

Одиннадцатилетняя Анечка Лифшиц никак не могла понять, что происходит? Почему евреи должны носить жёлтые шестиконечные звёзды, которые она тщательно и геометрически точно, с помощью циркуля, вычертила и вырезала из старой маминой кофточки? Почему они должны переезжать в другой город, когда у них такой уютный и тёплый дом? Почему её близкая подруга Света, с которой Аня дружила с первого класса и помогала ей, как отличница, по всем предметам, при встрече с ней отворачивается? Одета в клетчатое пальто с заячьим воротником, в тёплой шерстяной шапочке, из-под которой торчали две аккуратно заплетённые косички, она здоровалась с вчерашними соседями, взирая детскими глазами на их молчаливые лица и на полицаев, которые отгоняли стоящих на тротуаре горожан, пытавшихся передать несчастным завёрнутые в узелок продукты. Соседке удалось бросить

Ане тёплые варежки, но полицейай тут же их отобрал, погрозив кулаком, и положил себе в карман.

На станции их отвели за пакгауз и посадили в снег, замешанный на угольной пыли с грязью. По кругу стояли немцы и полицейай с автоматами и овчарками, такими же злобными и дисциплинированными, как и их хозяева. Офицеры несколько раз уходили на вокзал, видимо, связывались с комендатурой. Чего-то ждали. Наконец, объявили, что неподалеку пути занесло снегом и надо их расчистить. Охранники отобрали сотню-полторы мужчин покрепче, построили и увели. Но почему-то не по рельсам, а в другую сторону. Через несколько часов послышалась недалёкая дробь пулемёта, и тогда все поняли, что поезда не будет ни сегодня, ни завтра. Его не будет НИКОГДА! Говорят, что надежда умирает последней; сейчас она умирала первой.

Вскоре их подняли и повели. Кто-то бросил свои мешки и чемоданы, но педантичные немцы приказали их поднять. Мать Ани, Зинаида, стояла, прижимая к груди свёрток из одеяла. Тихо, почти неслышно посапывал во сне ребёнок – Анина сестра Верочка, которой всего несколько месяцев назад дали жизнь.

Её дедушка, Соломон, известный в городе портной, к которому приезжали даже из Брянска, уныло брёл во втором ряду, с трудом переставляя отёкшие ноги и, задыхаясь в застарелой астме, бормотал под нос молитвы. Отец шёл в том же ряду, но с другого края. Перехватив отчаянный взгляд жены, он сделал какой-то странный жест рукой, будто хотел взлететь, и побежал назад.

– Стій, падло! Halt!.. – хлопнули выстрелы, и отец, словно споткнувшись, с разбега упал лицом в грязь, и его широкополая шляпа, которую он надевал только по субботам, скатилась на обочину. Колонна остановилась, охрана смешалась, хриплым лаем зашлись собаки. И снова: «Давай, давай!», «Шнель», «Двигай, холера ясна!»

Колонна подошла к Карховскому лесу и остановилась у огромной, очевидно, выкопанной несколько часов назад, глубокой ямы. Свежевырытая земля темнела высоким бруствером.

– Всем раздеться! – раздалась команда.

Кто-то завыл в голос, кто-то упал, забившись в безысходном отчаянии.

Одни торопливо сбрасывали с себя одежду, словно надеялись послушанием заслужить пощаду, другие медлили, пытаясь хоть на минуту - на две оттянуть развязку. Стоны, проклятия, крики, плач... Старики, женщины, подростки, старухи, девушки. Подталкивая пинками и автоматами, полицаи выстроили их в ряд, на краю рва. И...длинные пулемётные очереди. Кто сразу падал в ров, кто вперёд, на землю. Полицаи ногами сбрасывали их в могилу, добывая раненых прицельными выстрелами. Следующие! Ещё одна шеренга, и снова пулемёты. Следующие! «Скорше, жиды, скорше!» «Schnell, Schnell!» «Давай,давай». Следующие!.. На секунду захлебнулся пулемёт, и этого мгновения было достаточно, чтобы мать своим телом заслонила дочь, и в следующую мгновение, уже с пулей в груди, прошившей насквозь её и ватное одеяло, падая в яму, толкнула туда и Аню, успев на последнем дыхании крикнуть:

– Прощай, доченька!

Когда прекратилась стрельба, над Карховским лесом воцарилась зловещая тишина.

Сапоги, шубы, рубашки, валенки, ботинки и даже галстуки нелепо расцвелили растоптанный грязный снег.

На дне ямы после первой акции остались лежать 950 человек, ещё час назад не верившие в такой исход. Через несколько дней, с последней акцией, там уже лежало 2860 человек – всё еврейское население города.

Закапывали, когда уже смеркалось. Немцы пригнали несколько военных грузовиков, работали при свете фар. Мороз ещё не успел прихватить рыхлую землю и потому работа шла споро. Через час трупы были кое-как забросаны землёй, и немцы покинули лес.

Поздно ночью пьяные полицаи хвастались трофеями, показывая полные карманы часов и ювелирных изделий, делили между собой одежду убитых. А в это время мужики с лопатами из близлежащей деревни уже рылись в яме, снимая с убитых сапоги, ботинки... всё, что ещё можно было снять.

Аня пришла в сознание оттого, что кто-то сильно ударил её по ноге чем-то острым. От боли вскрикнула и услышала чей-то шёпот:

– Тут, кажется, кто-то живой.

Помогли ей вылезти наверх.

Отдышавшись, вся в крови, Аня села на край рва и заплакала. Шёл снег, но земля была ещё тёплая и кое-где вздымалась от ещё живых тел, лежащих в яме.

Мужики отрезали ей кусок хлеба:

– Беги, жидовочка! Может, спасёшься! Только в деревню не ходи – сдадут тебя за мешок картошки.

Не разбирая дороги, Аня шла, дрожа от холода, лишь бы подалее отойти от этого зловещего места. Ноги сами вывели её к предместью города – Карховке. Задыхаясь, она присела отдохнуть в небольшой ложбинке прямо на снег и потеряла сознание.

Татьяна Суханова (в девичестве Бордовская) с наступлением темноты возвращалась домой через лес из пригорода города – Карховки, как вдруг услышала чей-то стон. Что произошло в этом лесу несколько часов назад, она ещё не знала, хотя выстрелы слышала. Оглянувшись по сторонам и никого не увидев, подумала, что показалось. Стон повторился, и Татьяна, осмотрев этот участок леса более внимательно, увидела полураздетую стонущую девочку, лежащую на снегу. Она подняла ребёнка, начала тормозить, но безуспешно: Аня в сознание не приходила. Сняв с себя ватник, она завернула в него девочку и стремглав побежала домой за санками. Было уже темно, когда она вернулась. Аня лежала в том же положении. Татьяна уложила её на санки и, воспользовавшись наступившей темнотой, никем не замеченная, привезла домой. Пришёл с работы муж – Александр, который работал машинистом в депо, что давало ему возможность передвигаться по городу в любое время. Совместными усилиями они раздели обмороженную Аню, одежда которой была вся в запёкшейся чужой крови, и стали растирать снегом, шерстью. Десять дней она находилась в бессознательном состоянии. Когда, наконец, им удалось привести её в чувство, узнали, что зовут её Аня Лифшиц, что она, как потом оказалось, единственная, кто осталась в живых после карховской трагедии.

Таня и Александр понимающе посмотрели друг на друга. Что им грозило за укрывательство еврейского ребёнка они знали, но

эту тему никогда больше не затрагивали. Отогрев и накормив Аню, они постелили ей в погребке, где она и провела несколько суток. Лишь с наступлением темноты, погасив керосиновую лампу, Ане разрешалось выходить из погреба. Своих детей у Сухановых не было и, может, поэтому они отдали ей всю теплоту родительской любви. Они никого к себе не приглашали, да и сами старались ни к кому не ходить, а если и приходилось выходить за продуктами, то один из них обязательно оставался дома. Несколько раз немцы проводили облавы, находили прятавшихся коммунистов и евреев, тогда их вместе с теми, кто их прятал, прилюдно вешали на площади. Сосед-полицай, хвастаясь своей осведомлённостью, иногда пробалтывался по пьяной лавочке о предстоящих облавах и тогда они успевали перепрятать Аню или переправить к родственникам в деревню. Солнечный свет Аня увидела только в сентябре 1943 года, когда город был освобождён.

Татьяна удочерила Аню, дала ей свою фамилию. В родительский дом Аня никогда не заходила. Потом дом сгорел, символично отрезав её от прошлого.

Через несколько лет Аня Суханова (Лифшиц) вышла замуж за Анатолия Исаковича, но, несмотря на своё еврейское происхождение, до самой смерти Бордовской считала её своей мамой.

Всё пережитое сказалось и на здоровье Ани. Всю жизнь она страдала ревматизмом и болезнью сердца, и в возрасте 74 лет умерла, пережив свою спасительницу на 10 лет.

P.S. Татьяна Леонтьевна Бордовская и её муж – Александр Суханов достойны звания Праведников Мира, но, к сожалению, никаких документов о том, что они спасли еврейскую девочку, кроме нескольких свидетелей, нет. Архив города в годы оккупации сгорел, свидетели сами отошли в мир иной, а в документах Анна Суханова (Лифшиц) была записана русской.

## Феликс Фельдман

### ДЕЖАВЮ

Ночь темна. Светлячки в потемневшем саду.  
И покоем дохнула услада.  
В тишине, я в Берлине устало бреду  
по тропинкам душевного лада.

А вверху, зябко кутаясь в облачный плед,  
спит луна, зависая над речкой.  
И ведет её лунный серебряный след  
в позапрошлого века местечко.

Два окошка и свет брезжит в чьей-то семье.  
То ли лампочка, то ли лучина.  
Это предки мои на дубовой скамье  
за беседой степенной и чинной.

Бородаты и стройны, как ели, деды,  
мои древние маны и штейны.  
И бормочут под нос, не предвидя беды,  
Элоа, Элохим, Элохейну.

Они верят, что Бог весь их род сохранит,  
вопрошая священную Тору.  
И в пути исповедные верят они,  
что откроются мудрому взору.

Мои деды и бабки надеждой живут,  
в ожидании страстном Мессии.

И мерещится им, как и мне, дежавю,  
это может случиться в России.

Там, на русской печи я, сгорая, лежу,  
иудейский птенец, притаившись.  
И из пепла, как Феникс, на предков гляжу,  
их потомок,  
еще не родившись.

\* \* \*

*Антисионизм становится  
удобным поводом для  
антисемитизма.*

*Из газет.*

Распрощаться, уйти, загулять или за́пить  
и посыпать, как принято, пеплом главу,  
или просто прийти на широкую паперть,  
ну, хотя бы во сне, если не наяву...

Всеблагой, мы с тобою совсем незнакомы.  
Стоп. Я кажется вру, я слышал о тебе –  
за тебя в твою честь бушевали погромы  
и к тебе же взывали в бессильной мольбе.  
Злопыхали пожары, скандалили плети,  
до оргазма сношали на каждой версте:  
богоизбранный первенец двадцать столетий  
клеветой прокажён, как распят на кресте.  
Славу Господу пели в парчовых одеждах,  
а в душе – лицемерие, злоба и тьма,  
истощилась у Бога на святость надежда.  
Помолился б, да нет, и не будет псалма.

Мне б воздеть к небесам Моисеевы руки,  
что держали скрижалей божественный дар,  
в уши Богу шепнуть, чтобы взял на поруки  
голубую планету, беспомощный шар.

Дождь на паперти хлещет и струями косит.  
Прослезилась погода. Какой с неё спрос?  
Здесь у Бога-Отца всепрощения просит,  
отвернувшись от капища, Рабби-Христос.

## ЕВРЕЙСКАЯ ДЕВОЧКА

В степи Ставрополя, в крестьянской избе  
назло лихолетью, недоброй судьбе,  
еврейской мадонны сама Ипостась\*  
девчоночка-ангел в тряпье родилась.

Всё было. И было не так уж давно.  
Из маминой юбки пальтишко. Одно.  
И бусы из косточек вишен и слив.  
Постыдная бедность: прилив и отлив.

Мы дети войны из шатров, не дворцов.  
Мы дети беды – без тепла, без отцов.  
И эта девчонка: сама Ипостась,  
всё детство не евшая хлебушка власть.

Еврейские дети, червовая масть...  
пиковый король, юдофобская власть...  
еврейские дети в еврейских дворах,  
надежда в глазах и томительный страх.

Еврейские дети – отборная масть.  
Трагический рок, мессианская страсть...  
И эта девчонка – сама Ипостась.  
В ней правда и суть, во плоти облеклась.

Чиста и тверда, как алмаза кристалл.  
Я эту девчонку...

женою назвал.

\* В смысле Богиня, неповторимая личность.

## КАДИШ

Ну, здравствуй, милостивый Боже. Прости. Прости,  
что мысль мирская душу гложет – не отвести.  
Я слышу, память проклиная, расстрельный шквал;  
идет волной до гор Синая девятый вал.  
Ты помнишь, Бог, тот день Завета, где под горой  
стоял народ и ждал ответа? Еще не Твой.  
Клялись взаимно у Синая народ и Ты,  
чужих богов не поминая, во все роды.  
И кто ж, как Ты, между богами, всесильный Бог?  
Да что ж случилось между нами, и как Ты мог?  
Шесть миллионов, род священный в сырой земле.  
Светильник веры семичленный погас во мгле.  
Шесть миллионов душ пречистых, бессильный бог;  
ты превратил нас в атеистов – таков итог.

Ну, что ж, верни меня к Сиону, верни гробы;  
ты возвратил нас к фараону, в его рабы.  
И нет у господ ответа, лишь горсть золы.  
Торчат на кладбище Завета одни колы.

\* \* \*

И я приду однажды к алтарю  
и припаду к придуманной иконе,  
ей в душу дверь охотно отворю,  
но не чужой, а собственной мадонне.  
Я не был распят, не злодей, не бог,  
под рёбра били, как всегда, чужие,  
и наплевать мне, гог то иль магог,  
а подсознание шепчет – расскажи ей,  
как душу обглодали до костей,  
и как она искала пятый угол  
среди четверки карточных мастей  
от вездесущих огородных пугал.  
Таскал её в заплечном рюкзаке.

Четыре масти, если нет пророков.  
Не ввали карты. Снова налегке.  
Каких еще мне надобно уроков?  
Удел наш воздух. И у нас одна,  
во все века нетленная мадонна.  
Бокал рыданий осушу до дна  
под тонкий звон стеклянных обертонов.  
В своей судьбе повтора не хочу,  
как плоть, икону обниму руками,  
зажгу пред ней прощальную свечу.  
Да не чужой, своей еврейской маме.

## МОНОЛОГ ПАМЯТИ

*поэма*

Беспечно историческое время,  
а ты – судьбою заданный урок,  
и тащишь на горбу земное бремя,  
то ль сам себя навьючил, то ли – рок.

Рожден. Подрос. Женился. Вышла замуж.  
Таинственный закон сплетенья душ.  
И тайна брака. Разгадать куда уж,  
зачем жена, к чему на свете муж.  
История течет, а в ней началом  
бесспорно ты, заглавный вечно лист,  
и, что бы в этой жизни ни случилось,  
ты для себя судья и моралист.

Ты сам себе, понять бы наконец,  
и чтец, и жнец, а может быть и лжец.

\* \* \*

Уходит почва из под ног, а дома  
всё, как и прежде, на своих местах,  
открытая ещё страничка тома,

щемящая прощальная истома  
и непонятный первобытный страх.

Изгой мы негаданно-нежданно.  
Опять пустыня, невечерний свет  
и ожидание небесной манны.  
Синай. Скрижали. Моисей. Завет.

Я чувствую, как дышат суховеи,  
сжигает тело знойный солнца глаз.  
Ах, гены, гены! Милые евреи,  
простите, это небо не для нас.

Куда ещё? Земля уже обжита.  
Но мне напомнили, что я еврей.  
Родная, если знаешь, подскажи ты.  
Я замерзаю, милая, согрей.

\* \* \*

Не ведал я, что женское тепло,  
как солнца луч сквозь пыльное стекло,  
в подвалах памяти былое оживляет.

Не экстрасенс. Но где найдёшь ответ?  
В истоках Вед?

Мы начинали в мае,  
и много лет с начала утекло,  
то временем разя, то исцеляя...

Винить судьбу, хоть в чем-то, я не вправе.  
Я шлёпал диссертацию на «клаве»,  
не веря правде, кланялся державе,  
точнее, просто верить не хотел.  
А ты молчала. И в объятьи тел  
терпела мой апломб,  
чтоб без скандала,

и охлаждала  
голову теплом...

Шалом, подруга, бью тебе челом.  
А я искал у Ленина и в Торе,  
Евангелий премудрость брал на зуб,  
и море умных книг себе на горе  
читал, внимал им,  
поученьям вторя,  
и льстил себе, что, в общем-то, не дуб.

\* \* \*

Аэропорт. Угрюмая столица.  
Повсюду политический загул.  
Шныряют подозрительные лица  
и лайнеров, как стон, протяжный гул.

А мы бежим, как будто виноваты,  
сполна оплачен простенький отель,  
администратор, вечно хамоватый,  
бежим, как безоружные солдаты,  
два чемодана, вещмешок, портфель.  
Там, за спиной, где жили мы когда-то,  
азарт, реформы, уголовный хмель  
и чья-то кровь. Красавицы-девчата,  
лихой необходимостью прижаты,  
не подиум избрали, а панель.

\* \* \*

Три бутерброда, кексы, кофе стылый...  
Как тяжело, если с чистого листа,  
когда разлукой сомкнуты уста,  
когда постылы стали те места,  
которые с рожденья были милы.

И вот уже таможенное рыло  
из ценностей берет, как на живца,  
два обручальных золотых кольца,  
дешевеньких и купленных по льготе.  
– Не мешкай, милый, ладно, что ты, что те...  
И злобный взгляд, как пуля на излёте.  
Но мы уже в полёте.

\* \* \*

И как же не сломать стереотип,  
что в женщине всё славное – мужское:  
мужской характер, воля, ум мужской.  
Быть бабой, вроде, даже не в чести.  
Спасителем из женского в земное  
воспряв из лона матери мирской,  
явился людям Логос во плоти,  
Неважно, кстати, это была иль небыль –  
в начале женском благосклонность неба.

Науке бы давно решить пора,  
кто из чьего произошел ребра.

А ты, с открытой праведной душой,  
купель моя, святая Иордань.  
Ты знала, где пройдет моя стезя,  
Куда ни ткнешься, слышалось: «Низззяя!»  
И мы вдвоем меняли города,  
Караганда, Узген, Кызылорда.  
Дворянкой в глубине казахских руд,  
о чём клопы и мыши не соврут.  
Всегда со мной, с моим еврейским счастьем,  
в ненастьях с подкупающим участием,  
где я скакал, как лошадь под вожжой,  
в земле своей, терпимый, но чужой,  
изгой,  
космополит безродный,

рвань...  
Всё-ё! Выплатили дань.

\* \* \*

Пойду пройдусь по млечному пути,  
по кочкам звезд к тому первоначалу,  
где тешатся в обнимку одичало,  
мужское с женским, в люльке бытия,  
и месяц, их небесная ладья  
плывет, несёт их к брачному причалу.  
Дойти бы только мне, дойти.  
Дойти, увидеть брачный идеал,  
узреть, что знали греческие боги,  
сравнить, к примеру, с тем, что змей нам дал,  
и унести быстрее оттуда ноги...

А, впрочем, что имеем, всё нам мало,  
и с Богом дорасти б до идеала.

\* \* \*

В гостях у Бога я, в командировке.  
Брожу по тверди неба и ищу,  
используя различные уловки,  
прообраз первой женщины – ишу\*.  
Мне чудо разделенья непонятно –  
Адам Кадмон\*\* иль просто андрогин.  
Всесильный, разъяснил бы людям внятно,  
зачем ты вбил между полами клин?  
Да, диалектика. Противоречья.  
Видать, ты ввёл ab ovo диамат,  
смешал, как сказано, для нас наречья,  
и подарил отраду, русский мат.  
Вещают: муж с женою плоть едина.  
Она душа, он дух – один в один,

такая непонятная картина,  
так лучше б оставался андрогин.  
Тебе-то что, ты не хотел Кадмона,  
а что же сотворилось на земле:  
мужик присвоил должность гегемона  
и бродят оба полюса во мгле.

И суждено нам присно, как и ныне  
вовек мужское с женским сочетать,  
признав в отечестве и на чужбине  
одно лишь место равенства – кровать.

Мужья, умерьте прыть и «сварость»!  
К концу одна согреет вашу старость.

\* \* \*

Жена + муж = «одно».  
Плодитесь, люди, размножайтесь, но...  
Забыты напрочь тайны поученья,  
что страсть мужчины к женщине – закон,  
его священный долг, всевышнее влеченье,  
что женское в мужчине испокон  
веков, как часть дана, с момента раздвоенья,  
несущее безбрачию запрет,  
и нарушения страшнее нет,  
нам обойти божественный Завет.

Воистину достойна похвалы  
мистическая мудрость Каббалы.

\* \* \*

Людские мне не безразличны нужды,  
прозрачен мир, здесь всякий на виду.  
Диктат, закон, мораль, что людям чужды,

неужто далеко нас заведут?  
Становятся мудрей и тверже массы,  
и капитал отчасти присмирел,  
а двадцать первый век, век новой расы,  
хоть мальчик, но отчаянный пострел.  
Что в нашем веке сотворит ребёнок,  
в десятом отнесли бы к чудесам.  
С Олимпа Хронос смотрит изумлённо:  
размер былой недели – полчаса.

Кто где родился, где живёт – не всё ли  
равно, когда, как птицы по стерне,  
выклёвывает города и сёла  
в безвизовое царство интернет.  
Когда брели с тобой, как иностранцы,  
в чужой, пока, стране, а по весне –  
инстанции, инстанции, как в танце,  
за кругом круг и, будто оборванцам,  
несли добро с печалью наравне.  
Сочувствуя чужой беде, мол, квиты,  
корбы несли для тела, не души:  
– Добро пожаловать и не тужи.  
Не мы, другие мол, антисемиты.  
Такие вот у немцев виражи.

\* \* \*

Не торопись и в память загляни,  
там дремлют смыслы – нашей жизни вектор,  
по-новому свой опыт оцени,  
доверь эмоции работе интеллекта,  
в другой стране он врач и архитектор,  
дарящий всем нам будущие дни.  
Обдумай прошлый опыт, не спеши,  
его события, этапы – память духа,  
к ней приложи, прислушиваясь, ухо,  
готовясь к революции души.

Сегодня видишь ты иначе, чем вчера.  
Такие, брат, дела et ceterá.

\* \* \*

Тебя я вспомнить не могу, отец,  
в руках лишь пара фотографий с фронта,  
а в памяти, как язва, жжёт рубец  
и в пламени земля. До горизонта.  
Ещё мне чудится всеобщий стон,  
могильный холм в неведомом поселке,  
та операция: «Багратион»,  
и выцветшие письма – «трёхуголки».

Давай, отец, поговорим, давай,  
я голос распознаю твой из многих.  
Пожалуйста, прошу, не упрекай,  
да не забыл я – «Дойчланд юденфрай!»  
и чту твои военные дороги.

Преступника не изменить природу.  
Спокоен он, концы упрятав в воду.

Я не забыл, что фронтом стала совесть  
что польское трагичное «Освенцим»  
рифмуется давно со словом «немцы»  
и что в долгу, творившие ту повесть.  
Я не хочу костить и ни ластить,  
но те враги, замечу ненароком,  
не смогут НАМ Освенцима простить\*\*\*  
как долго будем ИМ живым упрёком...

Да, правда и сурова, и горька,  
но истина видна издалека.

Прощенье добродетельно извека,  
пусть немец, финн, араб, поляк, еврей,

когда-нибудь мы станем все мудрей,  
возможно, превратимся в человеков,  
но, дай-то бог, чтоб больше не в зверей.  
Доверимся грядущим временам,  
мы не забудем, но простим Освенцим,  
и, выстрадав позор с бесчестьем, немцы  
когда-нибудь простят Освенцим нам.

Отец, вы клином вышибали клин  
и затоптали гидру сапогами,  
но в завершение берём Берлин  
сегодня мы и мирными руками.

\* \* \*

Квасной патриотизм – лихая рать.  
Кремлю клянутся, королю, Рейхстагу...  
Абсурд. Непрочь для дальних делать благо  
лишь тот, кто близким жизнь готов отдать.

А мы с тобой, ответь, плывем куда же,  
кто проложил фарватер наших душ?  
И я, конечно, знаю, что мне скажешь.  
Ответишь скромно: ты мой лоцман, муж.

Я лоцман милостью твоей на шхуне,  
на акватории длиною в жизнь,  
и тем признателен своей фортуне,  
что мы не знали ни межи, ни лжи.

Стоят идей бывшие цитадели,  
и по сей день инь с ян'ем не равны.  
Действительность не та, что мы б хотели.  
Не сдвинешь с места. Так к чему же ныть?

А наши были, всё, что с нами было,  
луч солнца сквозь прозрачное стекло

всё оживит, что сбылось и не сбылось,  
что сами создали и что не истекло.

Не разбазарен золотой запас,  
и кольца обручальные при нас.

*Апрель-май 2013*

*\* Иша (ивр. – первоженщина)*

*\*\* Адам Кадмон – «человек первоначальный».*

*В мистической традиции иудаизма соединяет в себе  
два начала: женское и мужское.*

*\*\*\* Вывод выживших в Холокосте евреев о немцах:*

*«Они не простят нам Освенцима!»*

## Бронислава Фурманова

### ЭВА

1994 год. Конец октября, тёплый, украшенный золотом листопада. В Германии мы три месяца. Живём в общежитии для беженцев. Ежедневно, после языковых курсов, ездим в район Штеглиц, где муж работает смотрителем жилого здания. Работа скромная, но даёт возможность получить квартиру через два месяца. В один из дней муж сгребал опавшие листья у «нашего» дома. Мимо, опираясь на палочку, проходила пожилая, седая дама. Улыбнувшись, она что-то сказала. В ту пору наш немецкий был ещё ограничен, хотя благодаря знанию идиш, муж немного понимал немецкий. Не разобрав из сказанного дамой ни слова, он ответил: «Да, да».

– Sind Sie Russe?( Вы русский?) – воскликнула она, продолжая о чём-то рассказывать. Начался небольшой дождь, но дама, раскрыв зонтик, увлечённо говорила. Потом удивлённо спросила, откуда он так хорошо знает немецкий. Путая немецкие и еврейские слова, он ответил, что почти ничего не понял. Эти встречи повторялись ещё несколько раз – дама жила в соседнем доме и часто выходила на прогулку. Мужу с трудом удалось объяснить, что мы пока не живём в этом в доме, но к Новому году переедем. Дама записала на листке бумаги номер своего телефона, и отдала мужу, добавив, что мы непременно должны созвониться. В её доме скоро освободится квартира, и можно будет взять себе кое-что из мебели и некоторые необходимые вещи. Больше до Нового года муж её не встречал. Оказалось, она болела. Отгремели праздничные фейерверки, приведя нас в состояние лёгкого шока: Германия, немцы, стрельба. Обживая новую квартиру, мы из скромности, ей не звонили. Муж, человек ответственный, трудолюбивый, несмотря

на праздничный день, вышел убрать следы ночного ликования. Я осталась дома, накрывать стол к праздничному обеду. Вскоре услышала его голос и чей-то чужой. Муж вернулся в сопровождении незнакомой дамы. Когда она вошла, произошло нечто странное. Увидев меня, остановилась, её серо-голубые глаза округлились, из них полились слёзы. Длилось это минут пять, затем она быстро, эмоционально стала о чём-то рассказывать. Мы не знали, что предпринять. Единственное, что разобрали – слово «Вера», многократно ею повторяемое. Оказалось, что я невероятно похожа на её любимую школьную подругу, еврейку Веру, которая вместе с семьёй погибла в концлагере. Ей было тогда шестнадцать лет. Эва (так звали новую знакомую) многие годы искала её. Через еврейскую общину узнала, где и когда Вера погибла. С этого новогоднего дня Эва Лампе уже не расставалась с нами до конца своей жизни, повторяя, что Бог вернул ей её Веру. Надо сказать, что впервые увидев висевшую на стене у Эвы фотографию Веры, я убедилась, сколь велико было наше сходство. Эва часто приходила к нам, но ещё чаще звонила. Запомнился курьёзный случай. Однажды, во время телефонного разговора, Эва о чём-то долго говорила, всякий раз задавая один вопрос: «Bin ich blöd?» (Я глупа?), на что я вежливо отвечала: «Ja, ja». Проверив в словаре значение этого слова, я обнаружила, что Эва спрашивала, глупа ли она. По прошествии времени, когда я уже смогла ей это объяснить, мы долго смеялись, и при любом удобном случае она задавала мне тот же вопрос, на который неизменно получала ответ: «Ja, ja».

Эва была одинока, жаждала общения. Она любила долго говорить, делала это виртуозно, без пауз, найдя в нас внимательных слушателей. Благодаря ей, я быстро стала понимать, а затем и довольно сносно говорить по-немецки. С годами она открывалась мне всё больше, и я убеждалась в том, что она – необыкновенная женщина. Вот всего несколько эпизодов из её, богатой событиями, жизни.

Она была незаконнорождённой, что в Германии в то время, в 1927 году, считалось почти таким же грехом, как быть евреем. Родители матери практически отказались от них, и первой колыбелью для младенца стала коробка из-под апельсинов. В школе, с

первых же дней, она подружилась с Верой. Эва не отказалась от неё и позже, когда дружба с евреями была под запретом. Она до конца осталась ей преданной подругой. Мать Эвы многие годы работала секретарём у доктора Ульмана, адвоката, еврея по происхождению, который нежно относился к любознательной девочке. Ему с семьёй пришлось бежать от нацистов. Они жили далеко от Германии, но связь с Эвой и её матерью не прервалась, и только благодаря его посылкам с продуктами и сигаретами, которые можно было обменять на хлеб, они пережили голод во время, да и после войны. Через всю жизнь Эва пронесла признательность к этому человеку и особое отношение к евреям. После войны семья доктора Ульмана возвратилась в Берлин. Обладая обширными связями, он помог Эве устроиться в «Berliner Bank» («Берлинский банк»), где она проработала много лет. У Эвы сохранились письма доктора Ульмана. После его смерти она хотела передать их Еврейской Общине вместе со своими воспоминаниями об этой семье. К сожалению, при пересылке всё затерялось и не дошло до адресата.

Её первая любовь, мальчик из параллельного класса, не вернулся с войны. Пережила Эва и насилие над собой со стороны как русских, так и немецких солдат. На долгие годы это потрясение лишило её желания даже смотреть в сторону мужчин и послужило причиной того, что её мечте – иметь детей, не суждено было сбыться. Наверное, поэтому она привязалась к двум соседским детям, считала их своими внуками. Отъезд этой семьи из её дома стал для Эвы ещё одной потерей, хотя она в последствии и поддерживала с ними отношения.

Своей она считала и нашу внучку, дав ей прозвище Трикси из-за того, что маленькая Лика, часто разыгрывая нас, звонила и, подражая голосу Эвы, долго говорила. Лика называла Эву «моя немецкая бабушка». В юности Эва мечтала о карьере оперной певицы, обладая прекрасным слухом и голосом. Чтобы оплачивать уроки вокала, разносила по домам тяжёлые пачки книг по заказам из книжных магазинов. Но что-то случилось с её голосовыми связками, а после операции голос не восстановился. Случилась в её жизни любовь, закончившаяся предательством. Потом – смерть отца, неизлечимая болезнь матери. Три года Эва ухаживала за

ней, пока не дала согласие на отключение аппарата, поддерживавшего лишь видимость жизни. Угрызения совести не покидали её до конца жизни. Тогда-то и наступило полное одиночество. Но в сорок пять лет к ней пришла последняя, самая главная любовь. Он, талантливый художник, переехал в Австралию, куда Эва неоднократно летала, чтобы побыть с любимым. И он прилетал к ней. Наконец, он принял решение вернуться в Берлин, соединить их судьбы. Шли приготовления, заканчивался ремонт квартиры, составлялось меню праздничного обеда, строились планы совместной, счастливой жизни. До долгожданного момента оставалось два дня. И вдруг – сообщение о его скоропостижной смерти от инсульта... Её мечты и надежды умерли вместе с ним.

У Эвы была сводная сестра по отцу, которому она не простила предательства в отношении к матери, хотя и общалась с ним, любила, мечтая носить его фамилию. Но лишь к её восемнадцатилетию он принёс документ об удочерении, разорвав который на мелкие кусочки, Эва объявила, что фамилия матери, Лампэ, для неё более почётна. Отношения со сводной сестрой никогда не складывались. После того, как Эве стало известно, что муж сестры служит в «Штази» (Аналог «КГБ»), а отец мужа в прошлом – эсэсовец, она стала её избегать. Много раз между ними происходили ссоры. Сестра была яркой антисемиткой, нелестно отзывалась о докторе Ульмане, о других Эвиных друзьях и приятелях еврейского происхождения. Моральные принципы Эвы характеризует и такой факт: после смерти сводной сестры оказалось, что та внесла Эву в список наследников, оставив ей 50 тысяч марок и бриллиантовое кольцо. Эва, при весьма скромной пенсии, ответила на письмо из адвокатской конторы о наследстве отказом, аргументируя его тем, что с антисемитами и нацистами никогда не имела ничего общего, не станет делать этого и впредь.

После возведения Берлинской стены Эва оказалась в западной части города, а её родня – в восточной. Все годы Эва посылала им посылки, в ответ не получая ни слова благодарности. Особенно часто Ева, с её доброй душой, помогала нуждавшимся еврейским знакомым. Мы шутили, что при переливании крови, которое когда-то ей сделали, несомненно, была влита «еврейская». Не

раз в своей жизни сталкивалась Эва с непорядочностью и предательством даже со стороны близких когда-то людей. Её доверчивость часто использовали. На какое-то время она потеряла веру в человеческую порядочность. Узнав об этом, я поняла, почему у неё на входной двери висела обрамлённая надпись: «Lieber Gott! Beschütze mich vor meinen Freunden; mit meinen Feinden werde ich selbst fertig» (Дорогой Бог! Защити меня от моих друзей, с моими врагами я справлюсь сама). Однажды, накануне 8 марта, когда я была у Эвы в гостях, она сказала мне, что не спала ночь из-за подушки, которую пора сменить. Я купила и принесла ей новую. Реакция Эвы меня потрясла! Уткнувшись лицом в эту подушку, она долго и громко рыдала. Сквозь рыдания, я смогла разобраться, что за всю жизнь никто из родных не сделал ничего подобного, не проявил о ней такой заботы. Она высоко ценила любой знак внимания. То, что нам казалось само собой разумеющимся, у неё вызывало бурю эмоций. Множество ласковых имен она придумывала для меня. Когда узнала, что я родилась в Комсомольске на Амуре, окрестила: «Mein Sibirisches Bärchen» (Мой сибирский медвежонок). Эва любила читать, собирать книги, и в её большой библиотеке было много книг о истории и жизни евреев. Собирала и еврейские анекдоты, с удовольствием их рассказывая и от души смеясь.

После трёх лет, прожитых в районе Штеглитц, мы переехали в район Тиргартен, поближе к моим родителям. Когда Эва узнала о предполагаемом переезде, она впала в депрессию. С трудом удалось её убедить, что расстояние нашей дружбе не помеха. Так и произошло. С тех пор у нас появилась традиция – каждую среду многие годы я, иногда с мужем, навещала её, привозила вкусные блюда из еврейской кухни, которые она особенно любила. Мы вместе обедали, и Эва говорила, говорила, говорила... В дни посещений концертов в филармонии, Эва задолго до начала заезжала к нам. Мы вместе обедали, беседовали, а потом пешком провожали её до недалеко расположенной филармонии. Эва бывала там часто, имея годовой абонемент. Когда её здоровье уже не позволило бывать в филармонии, она передала абонемент племяннику своего возлюбленного, умершего в Австралии. В память о своей

любви, она долгие годы поддерживала тёплые отношения с его племянником. И он, в свою очередь, когда Эвы не стало, в память о ней до сих пор продолжает продлевать абонемент. Недавно мы получили по почте от него в подарок два билета в филармонию. На программке, приложенной к билетам, приписка о том, что, зная о нашем отношении к Эве, он хотел бы, чтобы мы посетили концерт. Мы сидели на местах, одно из которых долгие годы занимала Эва, слушали любимую ею симфоническую музыку, и грустили о нашей потере. Ещё одна традиция была заведена ею в своё время. Ежедневно, ровно в семь вечера, она звонила, чтобы пожелать нам спокойной ночи. Волновалась, если нас не было дома, а мы её не предупредили. Автоответчик взрывался от отчаяния, звучащего в её голосе. Мысль, что с нами может случиться что-то плохое, приводила её в ужас. Ещё долго после её ухода из жизни, когда стрелки часов показывали семь, а телефон молчал, мои глаза наполнялись слезами. И я вспоминала, как часто Эва говорила, что Бог вознаградил её в старости, и в нашем лице она обрела семью, которой у неё никогда не было. Я не знаю, кого Бог вознаградил больше. Думаю – нас.

По мере того, как Эва стала больше болеть, наши посещения участились, мы помогали, чем могли. Сила воли у неё была огромная. Преодолевая боли, каждый день она спускалась с четвёртого этажа без лифта, отсчитывая 68 ступеней, каждая из которых доставляла ей невероятные страдания. Взяв почту, либо сделав маленькие покупки, проделывала тот же путь обратно наверх, повторяя, как заклинание: «Ich schaffe es. Ich muss» (Я сделаю это. Я должна). Порой подъём занимал минут сорок.

Эва часто звонила по телефону и говорила: «Ich brauche dich» (Ты мне нужна). Это случалось, когда ей бывало особенно плохо морально. Я бросала всё и мчалась к ней. Она включала классическую музыку, и мы слушали её молча. А потом Эва говорила, говорила, говорила... В начале февраля 2011 года, в результате неудачного падения, она оказалась с переломом плечевого сустава в больнице. После сложной операции пошла на поправку и 6 марта я перевезла и устроила её в реабилитационную клинику. Уходя, пообещала, что завтра непременно буду. Взяв меня за руку, Эва

крепко сжала её и сказала: «Ich bin so glücklich, das ich dich habe, mein Sibirisches Bärchen!» (Я так счастлива, что ты у меня есть, мой сибирский медвежонок!). По дороге домой, как когда-то накануне 8 марта, я купила маленькую подушечку, чтобы ей было удобнее спать.

Рано утром следующего дня нам позвонили из клиники и сообщили, что ночью у неё поднялась высокая температура. Очевидно, ещё в больнице, она заразилась от соседки каким-то вирусом. Ей дали лекарство и она уснула. Во время сна сердце её остановилось. Именно о такой смерти она мечтала – хоть одной её мечте суждено было сбыться.

За несколько лет до этого она сказала нам, что заключила договор с фирмой обрядовых услуг, оплатив все расходы, и завещала, когда придёт час – захоронить её урну анонимно. На наш удивлённый вопрос: «Почему?», ответила, что не хочет после своего ухода доставлять нам хлопоты, так как знает, что кроме нас за могилой ухаживать никто не будет; что не хочет цветов раз в год от оставшихся родственников, ведь при жизни они никогда ей их не дарили...

Мы выполнили её последнюю волю, часто приезжаем на кладбище, и конечно же, с цветами, потому что дарили ей их и при жизни. Отсчитываем шесть шагов от одного, примеченного нами, места, восемь от другого, и находим заросший травой кусочек земли, где покоится урна с прахом Эвы Лампэ, немки с еврейской душой.

## ЗВЁЗДЫ ДАВИДА

Повторяются часто фильмы  
о евреях, замученных в гетто.  
Этот ужас забыть нет силы –  
на забвенье наложено вето

В чёрно-белых кадрах размытых,  
Сохранивших весь ужас страданий,  
Вижу звёзды царя Давида  
На пришитых лоскутиках ткани.

Теми звёздами, как позором,  
отличали евреев от прочих.  
Заставляли носить покорно,  
как бы, вместо билетов волчьих.

Совершенно не понимая,  
В чём они провинились пред Богом.  
Верить в страшное не желая,  
шли евреи последней дорогой.

В многочисленных рвах, и ярах,  
В крематориях – были убиты  
Миллионы старых и малых,  
С ними вместе – и звёзды Давида.

Я хочу чтобы звёзды Давида  
Словно щит наш народ защищали,  
Не клеймом были жёлтым нашиты,  
Украшеньем бесценным сверкали.

Как немеркнувшей памяти символ  
О шести миллионах евреев,  
Ограждали б магической силой,  
Что бы к нам не вернулось то время.

## ЕВРЕЙСКИЕ ГЛАЗА

Из многоцветья разных глаз  
еврейские – узнать не сложно:  
В них ясно всё без слов и фраз,  
в них затаилась искра Божья,

Смешались в них и ум, и страх,  
и мудрость древнего народа,  
Свет радости, и боль утрат,  
И угнетенье, и свобода.

В них ярк добрых чувств букет,  
запас соковиц в них хранится –  
От юности до зрелых лет  
неисчерпаемо искрится.

Глаза глубоки, как моря  
слёз нерастраченных, солёных.  
И твёрдость духа в них не зря  
Гонимых, но не покорённых.

Не смогут никогда забыть  
они детей, в печах сожжённых.  
В них память вечно будет жить  
о жертвах многомиллионных.

Вот почему они глядят  
на мир не так, как остальные.  
Пронзителен их острый взгляд,  
Всегда наполнен ностальгией

По мирной жизни, без войны,  
ведь каждый этого достоин,  
Желаньем сбросить миф вины  
И никогда не быть изгоем.

## МЁРТВОЕ МОРЕ

Чудо света ты, Мёртвое море –  
на израильской вечной земле.  
До краёв переполнено горем,  
И кристаллами слёз в глубине.

Слёз людей, упокоенных где-то,  
или дымом взметнувшихся ввысь,  
В лагерях уничтоженных, в гетто,  
что солёным дождём пролились.

Море! Многим ты стало спасеньем,  
Ведь твоя чудотворная соль  
Так же, как и вода, без сомненья  
Исцеляют недуги и боль.

А больных иудейской судьбой  
Сможешь вылечить мёртвой водой?

## КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Туманят взгляд латунные квадраты  
Средь каменной брусчатки мостовой.  
В них выбиты фамилии и даты  
Людей с «преступной» пятою графой.

Расстрелянным в ярах, погибшим в гетто,  
Иль серым пеплом улетевшим ввысь,  
Или пропавшим на чужбине где-то,  
Долг памяти отдай! Остановись!

Мне стали настоящим откровеньем  
Впечатанные в землю имена –  
Бесчисленные камни преткновенья,

Где в каждом чья-то жизнь отражена,  
Того же цвета, что звезда Давида,  
Кричавшая о том, что ты еврей,  
Что к миллионам душ была пришита.  
Я слышу крик и здесь, из-под камней!

Латунь улыбку солнца отражает,  
Притягивая мимолётный взгляд,  
Зимой их снежный саван покрывает,  
А осень дарит лиственный наряд.

И летопись трагедий этих давних  
Я обхожу с волнением, не спеша.  
Не ноги спотыкаются о камни,  
О камни спотыкается душа.

## ЕРУСАЛИМ

Народ трудом своим упорным  
На пяди выжженной земли  
Эдем построил рукотворный.  
Сквозь войны, камни – проросли  
Ростки еврейского упрямства.  
Цветут пустыни и пески  
Израильского государства,  
Бесчётным бедам вопреки.

На протяжении столетий  
Идёт с евреями война,  
И льётся кровь, и гибнут дети,  
И плачет древняя стена,  
А купола Ерусалима –  
Церквей, мечетей, синагог  
Всегда напоминают зримо –  
Всех сотворил единый Бог!

Откуда взялись эти ссоры?  
Бог создал звон колоколов,  
И крик муллы, и чтение Торы  
Под мирным сводом куполов.  
Ан нет, как яблоко раздора,  
Израиль, словно в горле кость.  
Полмира, надевая шоры,  
Лелеет ненависть и злость.

Но ненависть к тебе бессильна.  
В Израиль явится Мессия!  
И по велению пророка  
Израиль будет неделим.  
И будут в мире все дороги  
Не в Рим вести – в Ерусалим!

## НОСТАЛЬГИЯ

Что нас заставило бежать сюда,  
Жить на чужбине столько долгих лет?  
Любили Родину? Конечно, да!  
Она любила? Нет!

Приложено немало было сил,  
Что б вынудить «виновный» наш народ  
Уехать от корней, друзей, могил –  
Продолжить свой исход.

Уехав, я переступила грань,  
С собою память увезла и боль,  
Чужие нам протягивают длань,  
А в мыслях – я с тобой!

Твой воздух для меня неповторим,  
Во сне я вижу лишь тебя одну,

Но домом называю я своим  
Мне чуждую страну.

И сколько б мне себя не утешать,  
Смириться с этим не смогла доднесь  
Моя осиротевшая душа,  
Рождённая не здесь.

## Альфред Ходорковский

\* \* \*

Когда звучит таинственный иврит  
И души к откровению готовы,  
Сдаётся мне, что с нами говорит  
Загадочный всевластный Иегова.

Серебряным подобием руки  
По строкам свитка кантор пробегает.  
Напевное звучание строки  
Из века в век хранит седой пергамент.

В нём мудрость вековечная живёт  
И опыты давно ушедших предков.  
А по миру рассеянный народ  
Хранит Завет – божественную метку.

### МИР БЫЛ ГЛУХИМ

Как много этих «Бабиных яров»  
И в городах, и в маленьких местечках.  
Людей невинных пролитая кровь –  
Не ручеёк, не озеро, не речка...  
Мир был глухим в тот злополучный час,  
Не видел слёз и не слышал рыданий –  
Глухонемой: в нём божий дар угас,  
Он не найдёт молчанью оправданий!  
Признаюсь вам: с течением годов  
Ещё сильнее чувствую утрату

Расстрелянных детей и стариков,  
Оставленных на гибель супостату...  
Мне сердце жжёт их пепел до сих пор,  
и в сны приходят дорогие лица –  
В глазах немой скрывается укор:  
Кто допустил, чтоб так могло случиться?

## ВЕРНУЛАСЬ МУЗЫКА

*Памяти композиторов  
Эдвина Шульхофа, Виктора Ульмана,  
Гидеона Кляйна, Павла Хааса,  
умерщвлённых нацистами в лагерях смерти.*

Отвергнутых симфоний ряд,  
    концерт с сонатами,  
как будто пленные лежат  
    под автоматами.  
Фантазий прерванный полёт,  
    квартет с сюитами,  
Дуэты, трио... О, mein Gott!  
    И нет защиты им...  
«Запретной музыке – молчать!»  
    Приказ: «В изгнание!»  
На ней поставлена печать –  
    врага Германии.  
Не может музыка звучать –  
    кровавит ранами.  
Не может музыка молчать,  
    как безымянная...  
Но вот пришёл последний срок  
    фантасмагории –  
ворвался музыки поток  
    в аудитории!  
Живущим ныне – не в упрёк  
    в конфликте, в споре ли,  
но полон горечи урок –  
    урок истории.

## Давид Яновский

### МОЙ НАРОД

Давно отшумели шумеры,  
Исчезли с карты урарты.  
Гибли народы и веры,  
Менялись гербы и штандарты.

От культа Ра и Изида  
Остались одни пирамиды.  
Руины Эллады и Рима  
Дряхлеют неотвратимо.

И только народ мой странный  
Свитки Книги упорно  
Несёт сквозь века и страны  
Храм свой нерукотворный.

Его на вершине Синая  
Нам даровал Адонаи.

### ИЗ ЭЛИЯГУ (Третья книга Царства)

Идёт Господь, и ветер небывалый  
Сметает горы, разрушает скалы.  
Но нет, не в ветре яростном Господь!

И после ветра вздрогнула земля,  
Дома обрушились и треснули поля.  
Но не в землетрясении Господь!

Потом охватит яростным огнём  
Моря и сушу. Мир исчезнет в нём.  
Но не в огне пылающем Господь!

Вдруг стихнет всё. Не шелохнётся колос...  
И прозвучит с небесной вышины  
Входящий прямо в сердце голос,  
Беззвучный голос тонкой тишины.

Вот в нём Господь!

## МЁРТВОЕ МОРЕ

Кто любил тебя,  
Мёртвое море?  
Кто наполнил горькою болью?  
Кто убил тебя,  
Мёртвое море?  
Кто укутал саваном-солью?

Это слёзы,  
еврейские слёзы,  
что веками льются рекою.  
Это грозы,  
жестокие грозы,  
уничтожили всё живое.

## ШМА ИСРАЭЛЬ!

«Шма Исраэль! Израиль, слушай!»  
Наш Бог – единый, Бог один.  
Над морем Он царит и сушей,  
Вплоть до космических глубин.

Он выбрал нас из всех народов,  
Чтобы служили мы Ему,  
Чтоб от восхода до захода  
Молитвой разгоняли тьму.

Он заключил Завет суровый,  
Чтоб соблюдали мы Закон,  
Чтобы несли мы миру Слово,  
Которое поведал Он.

Быть впереди Он дал нам право,  
В тот час, когда на казнь ведут,  
Когда в сумятице кровавой  
Вражда вершит неправый суд.

Он дал нам край обетованный,  
Потом забрал и вновь вернул,  
Но по рассеянности странной  
Он дёготь в этот мёд плеснул.

«Шма Израэль! Израиль, слушай!»  
Опять беда пришла в твой дом,  
И разрывает слух и душу  
Невыносимый взрывов гром.

И вновь безумные шакиды,  
Взрывчаткой пояса набив,  
Терзают край царя Давида,  
Ерусалим и Тель-Авив.

И снова в муках гибнут дети,  
И рвётся плоть, и льётся кровь,  
И страшные страдания эти  
Должны мы видеть вновь и вновь

И тут бессмысленны уступки,  
И мало толку от стрельбы,  
И мир не обеспечат хрупкий  
Нам ни угрозы, ни мольбы.

Я не политик и не Бог,  
Не знаю, как решить задачу,  
И в море горя и тревог  
Я только плачу, горько плачу.

Молиться не умею Богу,  
Но, веруя в святую цель,  
Прошу я: Помоги немного!  
Мы – Твой народ! Шма Израэль!

### ХРУСТАЛЬНАЯ НОЧЬ

Хрустальная ночь была чёрным форпостом,  
Хрустальная ночь – это страшный рубеж.  
С неё начинается ад Холокоста,  
Мучений и смерти безумный кортеж.

Звук бьющихся стёкол – как звон погребальный  
По тем, кто себя называет «а ид».  
По этим кровавым осколкам хрустальным  
Пройдёт их дорога в еврейский Аид.

И над синагогами – дымное пламя  
Пылает предвестьем Треблинки печей.  
Фашистская нечисть гремит сапогами,  
Ещё до Победы – две тыщи ночей.

Всё вынес народ, мы расправили плечи.  
У нас есть Израиль – надежды оплот,  
Но тех не забыть, кто ушёл через печи.  
И тех не простить, кто вновь этого ждёт.

## НОВОГОДНИЙ ШОФАР

В последнем месяце элуле,  
Трубили трепетно шофары,  
Чтоб наши души не заснули.  
Так год заканчивался старый.

Вчера шофары не трубили,  
Теперь им вновь пора кричать,  
Чтоб о суде мы не забыли  
И не забыли про Печать.

Сегодня вновь шофара звуки  
Нам всем напомнят о тшуве,  
И снова мы возденем руки  
К Нему в небесной синеве.

И снова из последних сил  
Молить мы жарко будем Бога,  
Чтоб Он нам все грехи простил,  
Хоть прегрешений наших много.

И Бог простит, звук рога громкий  
Объединяет весь народ,  
И нас, и предков, и потомков  
Из века в век, из рода в род.

## РОШ ГА ШАНА

Сегодня радостно встречаем  
Мы Новый год, Рош Га Шана.  
До дна за счастье выпиваем  
Бокалы, полные вина.

Здесь блюдо каждое для нас  
Таит особые приметы:  
Кружки морковки в этот час  
Сулят для кошелька монеты.

Вот рыба с головой на блюде  
Нетерпеливо ждёт гостей,  
И это знак того, что будем  
Мы в голове, а не в хвосте.

А рядом с праздничною чашей  
Лежит у нас гранат отборный,  
Чтоб множились заслуги наши,  
Как красного граната зёрна.

Нам хала круглая вещает,  
Что вечен лет круговорот.  
Она надежду обещает:  
Всё, что ушло, к нам вновь придёт.

Мы отмечаем Новый год  
И, помня древние порядки,  
Мы яблоки макаем в мёд,  
Чтоб год счастливым был и сладким...

Сегодня Книгу Жизни строго  
Заполнит Господа рука.  
Пусть даст Он всем нам счастья много,  
Шана това уметука.

## ХАНУКА

Не бойся, что не хватит масла,  
Чтоб осветить наш вечный храм.  
Лишь только б вера не угасла,  
А масла – Бог добавит нам.

И в храме, предками воспетом,  
Огонь свечей ханукии  
Благословит небесным светом  
Глаза усталые твои.

## СОГЛАСНО ТАЛМУДУ

Лишь тот, пред кем ты виноват,  
Тебя простить имеет право,  
И не простят ни рай, ни ад  
Убийце грех его кровавый.

Просить прощенья, смысла нет.  
Песком засыпаны те уши,  
Которые напрасный бред  
Раскаянья могли бы слушать.

Забит сухой землею рот,  
И сердце червь безглазый гложет.  
Мольба до сердца не дойдёт,  
Рот ничего сказать не может.

Простить убийц не могут кости  
Тех, кто погибли в Холокосте.  
Лишь чёрный камень на могиле  
Кричит: «Запомни: их убили!»

ИЗ ЭККЛЕЗИАСТА  
(вольная композиция)

Сказал Экклезиаст, Давидов сын,  
Который был царём в Ершалаиме:  
Всё суета – сказал Экклезиаст,  
Всё суета сует, и снова суета.  
Что толку человеку от трудов,  
Которыми он трудится под солнцем?  
Приходит род людской,  
И род людской уходит,  
И лишь земля навеки остаётся.  
Восходит солнце и заходит солнце,  
И снова возвращается потом  
На место, где опять оно восходит.  
На север ветер веет и на юг,

Кружится на ходу своём, кружится,  
И на круги свои приходит он опять.  
Текут все реки в море, но оно  
Не переполнится; опять они к истокам  
Приходят, чтобы снова в море течь.  
В труде все вещи: человек не может  
Пересказать всего; и око не насытит  
Он зрением; и ухо не наполнит  
Он слушаньем. Что было, то и будет,  
И ничего нет нового под солнцем.  
Бывает иногда, что говорят:  
«Смотри, вот это новое!» – но это  
В веках прошедших было прежде нас.  
Нет памяти о прошлом, и о том,  
Что будет, тоже память испарится.  
Не говори ты: «Отчего же прежде  
Всё было лучше, чем теперь?»  
Не от ума большого такой вопрос.  
И это – суета.

Я сердце испытать хотел весельем,  
Но увидал, что это – суета!  
О смехе я сказал: «Ведь это глупость!»  
А о веселье: «Что оно даёт!?»  
Но я решил запрятать в сердце мудрость,  
И глупости последовать, пока  
Я не увижу, что должны под небом  
Мы совершить за свой недолгий век.  
Я начал много строить. Посадил  
Сады и виноградники, и рощи;  
Служанок приобрёл себе и слуг.  
Собрал я много серебра и злата,  
Завёл себе певцов я и певиц.  
Я сделался богатым и великим,  
И мудрость пребыла моя со мной.  
Чего б глаза мои не пожелали,  
Я им давал, и сердцу моему  
Я всё давал, чего оно хотело.

И оглянулся я на все свои дела,  
На весь свой труд, которым я трудился,  
И увидел, что это – суета,  
И пользы нет от дел моих под солнцем.  
Кто любит серебро, тому его всё мало,  
А кто богатство любит, не найдёт  
В нём пользы для себя, и это – суета.  
Чем более имущества, тем больше  
И потребляющих его. Какое в этом благо  
Тому, кто им владеет? Лишь смотреть?  
Отраден сон трудящегося, мало  
Иль много съест он, но не даст уснуть  
Богатому пресыщенность его.  
Я посмотрел на мудрость и на глупость,  
И увидел, что мудрость – это свет,  
А глупость – тьма: но участь постигает  
И мудрого и глупого одна.  
И я сказал: к чему тогда мне мудрость?  
Забудутся и глупый, и мудрец,  
Умрут, увы, равно мудрец и глупый,  
И я сказал, что это – суета.  
И я возненавидел все труды,  
Которыми трудился я под солнцем;  
Ведь я умру, и всё возьмёт другой,  
И я не знаю, мудрый или глупый,  
А он получит всё, не потрудившись.  
И это – суета и зло большое.  
Что пользы человеку от трудов  
И от заботы сердца своего,  
И от всего, что он творит под солнцем?  
Труд человека – только лишь для рта;  
Душа его голодной остаётся.  
Все дни его – дни скорби; и труды –  
Лишь беспокойство. Даже ночью в сердце  
Покоя нет, и это – суета.

И я увидел много угнетений,  
Которые свершаются под солнцем.

Я видел суд неправый, беззаконный  
И место правды, где царила ложь.  
Вот слёзы угнетённых, а утешить  
Их некому. Вся сила  
В руках их угнетателей, и нет  
Им утешителя. И я сказал, что мёртвым,  
Давно умершим, лучше, чем живым,  
Которые живут ещё доселе.  
А лучше всех – тому, кто не родился,  
И зла, творимого под солнцем не увидел.  
Я видел и такое зло на свете,  
Что постигает праведника горе,  
А нечестивый век живёт в довольстве,  
И я сказал, что это – суета.

Всему одно: и доброму, и злому;  
Нечистому и чистому – одно.  
И это плохо: Сердце человека  
При жизни полно зла, а после он умрёт  
И отойдёт к умершим. Лучше псу живому,  
Чем льву издохшему. Кто ходит меж живыми,  
Тому надежда есть, пока он не умрёт.  
И знают все живые, что умрут,  
А мёртвые не знают ничего,  
И нет им никакого воздаянья.  
О них и память предана забвению;  
И их любовь, и ненависть, и ревность  
Уже исчезли; нет им больше части  
Ни в чём вовек под солнцем на земле.  
И вот увидел я: для человека  
Нет лучше ничего, чем наслаждаться  
Плодами рук своих; ведь это –  
Его удел; никто не приведёт  
Его, чтоб посмотреть, что будет после смерти.  
И если бы кто прожил сотню лет  
И сто детей имел и многие богатства,  
Но он душой добром не наслаждался  
И не было ему и погребенья,

То выкидыш счастливее его.  
Ведь он не видел солнца, и не знает;  
Ему покойней, нежели тому.  
Итак иди и ешь свой хлеб с весельем,  
На радость сердцу пей своё вино,  
Покуда Бог к тебе благоволит.  
И наслаждайся жизнью ты с женой  
Любимою, которую дал Бог  
Тебе на весь твой путь под солнцем и луной.  
Что можешь делать – всё по силам делай;  
В могиле, где окончится твой путь,  
Нет ни работы, нет и размышлений.  
Ни знания, ни мудрости там нет.  
Сей семя утром; и по вечерам  
Пусть отдыха рука твоя не знает –  
Ведь ты не знаешь, что взойдёт удачно.

Плач лучше смеха, от печали сердце  
Становится и чище, и добрей;  
И мудрый чаще ходит в дом печали,  
А тот, кто глуп, тот ходит в дом веселья.  
Смех глупых – треск терновника сухого  
На углях под котлом; и лучше обличенья  
От мудрого, чем песни от глупцов.  
Но слишком строг не будь, и слишком мудрым  
Не выставляй себя; зачем себя губить?  
Не обращай вниманья на злословье,  
Ведь знаешь ты, что этим сам грешил.  
Таких людей нет праведных на свете,  
Кто делает добро и не грешит.

Ещё увидел я: любой успех в делах  
Тотчас рождает зависть меж людьми,  
И это – суета и зло большое.  
Но лучше всё же двум, чем одному:  
У них есть утешение друг в друге.  
И если упадёт один из них,  
Другой тотчас товарища поднимет.

Но горе одному, коль упадёт,  
И нет другого, кто подал бы руку.

Чего ещё душа моя желала  
И не нашла? Мужчину одного  
Из тысячи нашёл я, а из женщин  
Я ни одной меж всеми не нашёл.  
Я женщине сказал: «Ты горше смерти!  
Ведь вся ты – сеть, и сердце у тебя –  
Силки, а руки – как оковы.  
Лишь праведный спасётся от тебя,  
А грешника уловишь и погубишь».

Но кто – как мудрый? Для кого открыто  
Значение вещей и тайный смысл всех дел?  
Что существует, то имеет имя.  
Вот это – человек, и он не может  
С тем препираться, кто сильнее его.  
Поспешный гнев гнездится в сердце глупом,  
На небе Бог, а ты ведь на земле.  
Да будут же слова твои немногим.  
Коль дал обет ты Богу, то не медли  
Его исполнить; Он не любит глупых.  
Что обещал – исполни непременно.  
Я мудростью всё это испытал.  
И сам себе сказал: «Я буду мудрым!»  
Но мудрость удалилась от меня.

И понял я: всё то, что сделал Бог,  
Вовек пребудет. Ни прибавить, ни убавить  
От Божьих дел, и делает Он так,  
Чтоб пред лицом Его мы все благоговели.  
Ещё я обнаружил, присмотревшись,  
Что не проворный побеждает в беге,  
Не храбрый в битве, не у мудрых хлеб,  
Но все дела и все труды под солнцем  
От времени и случая зависят.  
Есть время для рождения и смерти,

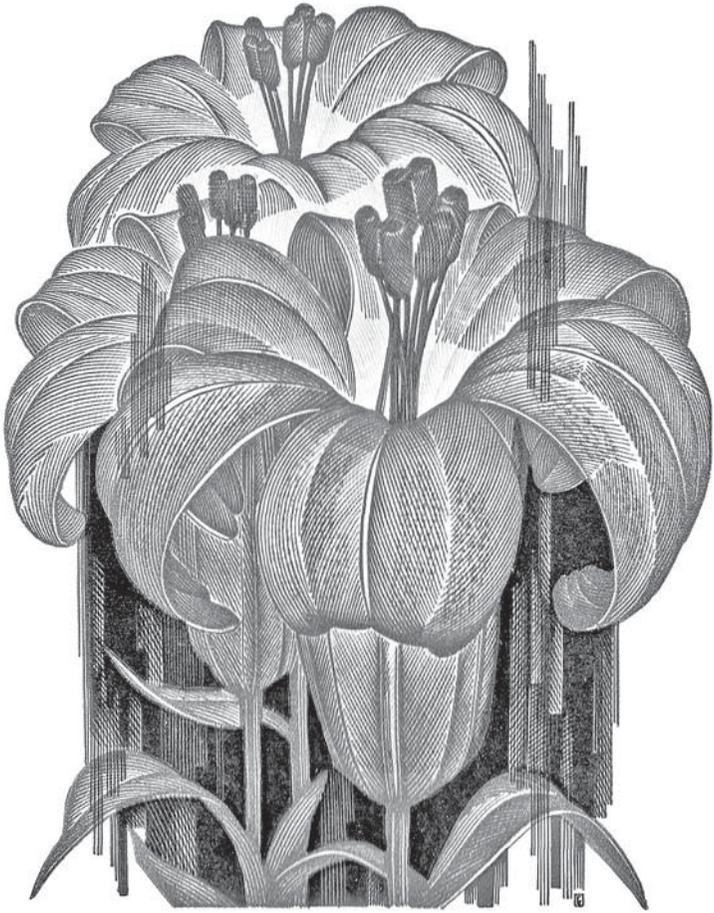
Есть время убивать и время врачевать,  
Есть время сетовать и время есть плясать,  
Есть время находить и время есть терять,  
Есть время для молчания и речи,  
Есть время для войны, и время есть для мира.

Всё сделал Бог прекрасным в нужный час,  
И мир вложил он в сердце человека,  
Хоть нам и не постигнуть до конца  
Ни дел и ни намерений Его.  
Ты посмотри на действованье Божье:  
Кто выпрямит что сделал Он кривым?  
Не властен человек ни пить, ни есть,  
Ни наслаждаться от трудов своих душою.  
Я увидал, что это всё – от Бога:  
Кто может есть и наслаждаться без Него?  
Тому, кто добр перед лицом его всегда,  
Даёт Он мудрость, знание и радость,  
А грешнику даёт Он лишь заботу  
Копить и собирать, чтоб после всё досталось  
Тому, кто перед Богом добр и чист.  
В дни юности ты должен веселиться,  
Всем сердцем ты Создателя хвали,  
Пока не наступили дни такие,  
Что после скажешь: «Нет мне счастья в них!»  
Доколе не померкли свет и солнце,  
Луна и звёзды, и доколе тучи  
Не заслонили небо для тебя.  
Доколе звенья цепи не распались  
И не разбился вдребезги кувшин,  
И над колодцем колесо не расколосось.  
Отходит человек в свой вечный дом  
И плакальщицы ждут его за дверью.  
Он из утробы матери своей  
Нагим выходит и нагим уходит.  
И власти над своею смертью нет,  
Нет избавления в бессмысленной борьбе,  
И нечестивого нечестье не спасёт.

Судьба одна у нас и у животных:  
Как те, так и другие умирают,  
И нет у человека преимуществ  
Перед скотом – у всех одно дыханье.  
Кто знает: воспарит ли дух людской,  
А дух скотов сойдёт ли вниз под землю?  
Животные мы сами по себе,  
И потому всё это – суета.  
Из праха вышло всё,  
И в прах всё превратится.  
Одно лишь только верным я нашёл:  
Бог человека правым сотворил,  
А мы пустились в помыслы пустые.

Экклезиаст не только был мудрец,  
Ещё он обучал народ свой знанью.  
Он всё хотел познать и испытать,  
И всё, что здесь им сказано – всё верно.  
У мудрых все слова – как будто иглы,  
Как гвозди вбитые; и те, кто их сложили –  
От Пастыря единого. Того,  
Что сверх здесь сказанного,  
Сын мой берегись:  
Коль много книг писать,  
То им конца не будет,  
И утомительно для тела чтение их.

# **ПЕРЕВОДЫ**



## Леонид Бердичевский

*С идиш*

**ХАИМ-НАХМАН БЯЛИК**

(1873 – 1934)

### ВОЗВРАЩЕНИЕ

Вот старик – худой и кроткий  
Водит пальцем по страницам.  
Он у жизни посередке,  
Кое-как привык ютиться.

Вот старуха – одряхлела,  
Варит, штопает и вяжет,  
Занята привычным делом,  
Слова лишнего не скажет.

Вместе прожили полвека.  
Тот же быт и то же счастье.  
Те же прелести ночлега  
В неудобствах разной масти.

Список их болячек длинный:  
Стены сплошь покрыты цвилью\*,  
Окна в сетках паутины, –  
Разрушения засилье.

За окном легко и просто:  
Хохот, шутки. щебет птичий...

Я б хотел умерить поступь  
Здесь, средь этого величья.

*\*цвиль (укр.) – плесень*

## ЗАДЫХАЕТСЯ ЛЕТО...

Задыхается лето.  
Осень всю золотым  
и рубиновым цветом  
украшает природу  
по законам своим.  
Задыхается лето.

Парк спокойно заснул,  
и влюблённых не видно,  
только клин журавлиный  
провожаю я взглядом,  
хоть за лето обидно,  
в путь извилистый, длинный.

Вот нагрянет зима  
с беззастенчивой вьюгой,  
прорываясь к окошку.  
Сироте починю  
прохудившийся угол,  
заготовлю картошку.

## МАРК ЛЕЙБОВИЧ (даты жизни неизвестны)

### В ГЕТТО

Колонны серых безмолвных жертв  
текут в утрюмую ночь.  
Мороз жестокий, как изувер,  
и ветер, острый, как нож.

Звёзды погасли, и стынет кровь,  
и дню нам не возразить.  
Вороны, чуя большой улов,  
не прекращают кружить.  
Ночь зацепилась надолго здесь,  
чёрным висит потолком.  
Глаза охранников, словно жечь,  
и подавился гром.

Дорога наша в один конец –  
назад нам отрезан путь.  
И даже в мыслях дерзкий беглец  
свободу не смог бы вернуть.  
За всеми мы отправимся вслед,  
в последний, тяжёлый кросс.  
Больше ни Бога, ни друга нет,  
ни мыслей, ни даже слёз.  
Поторопись, бессонная ночь,  
позволь заснуть навсегда.  
Надежда давно сбежала прочь  
туда, где дремлет беда.

**РЕЙЗЛ ЦИХЛИНСКИ**  
(1910 – 2001)

**ПЕСНИ ИЗ МОЕГО ДОМА**

*Памяти 3030 евреев моего родного  
Габина, погибших в душегубках  
концлагеря в Хелмно, в апреле 1942 г.*

Мне хочется вновь  
пройтись по этой траве,  
и рыдать на земле,  
обращаясь к небу  
и к ветру, что дует в лицо,  
чтоб всем напомнить о горе  
на клочке этой земли,

где раньше стоял мой дом  
с широко распахнутой дверью.

Но, увы, моя мама  
не придёт сюда больше,  
заснеженная, с голубым  
бидоном молока в руке,  
с добрым взглядом  
своих голубых глаз.

Из наших окон,  
куда солнце светило,  
скача от стены к стене,  
из угла в угол,  
и моя зелёноглазая кошка  
не будет дремать на скамье.

Только ивы по-прежнему  
отражены в пруду,  
да слёзы мои падают в воду,  
нарушая её покой.

### ПРИ ЛИСТОПАДЕ...

При листопаде осенний ливень.  
Время свою выбирает дорогу.  
Время для тех, по полю гонимых,  
сбивающих в кровь уставшие ноги.

Без крошки хлеба,  
три тыщи евреев  
гонят, оставив им четверо суток,  
детей идущих на смерть, не жалея, —  
Худых, голодных, раздетых, разутых.

От детских слёз стала мокрой осень.  
Леса окрестные в кольца сжаты,

и листья, что падают вниз в хаосе —  
большие, немые, не виноваты.

Небо глубокое, голубое  
видит, как день убывает текущий,  
видит коров, что мычат и воют,  
и пастухов, картофель жующих.

### ЧЕЙ ЭТО ЗВОН ТАМ...

Чей это звон там, на чёрном поле,  
кто сможет назвать мне их имена?  
Дорожный терновник стонет от боли,  
дети кричат, хоронясь от огня.

Шагаю по полю босыми ногами,  
сын соседский издадека,  
ноги его, словно угольный камень,  
глаза открыты, мертва в них тоска.

Из города я уйду виновато,  
где ленту дороги объяла печаль.  
Хотел он иметь свой рынок когда-то,  
и пароходы, плывущие вдаль.

### МОИ ЕВРЕЙСКИЕ ГЛАЗА

Я открыла окно  
перед солнцем весенним,  
перед небом и тучами,  
их отраженье  
отпечатком  
в моих поселились глазах.

Я украсила дом свой  
цветочным вазоном

и ждала, наклонившись,  
над блёклым бутоном,  
чтобы он, распустившись,  
цветок показал.

Хоронить его рано,  
он только лишь сонный,  
он ещё оживёт  
и пахнёт благовонно,  
но могилу ему  
начала я копать.

А земля ещё твёрдая,  
мёрзлая к ночи,  
хоть и скоро весна,  
да и сердце не хочет  
к этой смерти цветка  
ни за что привыкать.

Я впитала глазами  
еврейскими краски,  
что в основе цветка  
то сверкнут, то погаснут,  
и глаза мои тоже  
не хотят умирать.

**ИЦИК МАНГЕР**  
(1901 – 1969)

**БАЛЛАДА О СТАРОМ ГАЙДУКЕ**

По полю мчит, под копытливый стук,  
На чёрной кобыле старый гайдук.  
    Буря в разгаре. Он с длинным ружьём –  
    Под прицелом каждый в деревне дом.  
Окна ослепли и давится страх,  
Воздух бедой и угрозой пропах,  
    Тут осветили всё поле лучи,  
    Кто-то решил гайдука проучить.

Тени исчезли и сверху луна,  
Мигом рассеяла темень она,  
    Чтоб люди получше видели сны,  
    Ведь нет на народе чьей-то вины.  
Небо на мушку взял старый гайдук.  
Лунная кровь льёт со старческих рук.  
    Прямо он в сердце луны угодил,  
    Больше светить не хватило ей сил.  
По полю мчит под копытливый стук,  
Всё отдаляясь старый гайдук.  
    В снежную бурю с длинным ружьём,  
    Горе людское ему нипочём.

### ГРУСТНАЯ ПЕСНЯ О НЕЖНОСТИ

Мне б хотелось для тебя купить луну  
из бумаги с серебристо-чистым звоном.  
Я в луну своё дыхание б вдохнул,  
чтоб на дверь твою повесить восхищённо.

Я б поставил перед дверью трёх солдат  
в голубых мундирах, только для дозора,  
и полковника, чтоб полон был наряд, –  
из японского тончайшего фарфора.

Чтоб свой пост не оставляли допоздна,  
чтобы каждый был внимателен и весел.  
За здоровье моей маленькой принцессы,  
стопку выпили б искристого вина.

«Мы серьёзны, – мне полковник говорит,  
обнажая свою сабельку кривую, –  
напускаем строгость, нас Господь простит,  
но солдаты из фарфора не воюют».

Я с солдатами стою в одном строю,  
перед дверью моей маленькой принцессы.

Прямо с неба, чтоб на дверь её повесить,  
для неё я золотую снял звезду...

А когда с чужбины навсегда вернусь,  
я на грудь принцессы сразу перевешу  
ту звезду с двери, – она сверкает пусть,  
как напоминание про нежность.

## ЭПИЛОГ ДНЯ

Я устал. Спокойной ночи!  
Веки сном воспалены.  
Жизнь подсказывает сны,  
их сюжет – любимой очи.  
Я устал. Спокойной ночи,  
веки сном воспалены.

Бормочу спросонья песню.  
Я в дремоте, полусплю  
и, как будто во хмелю,  
птицей я парю на месте.  
Бормочу спросонья песню,  
я в дремоте, полусплю.

Протоптал ко сну дорогу,  
В ночь принёс я этот сон,  
но оставшись побеждён,  
спать улёгся на пороге.  
Протоптал ко сну дорогу,  
в ночь принёс я этот сон.

*С немецкого*

**РОЗА АУСЛЕНДЕР**

(1901 – 1988)

**ЧЕРНОВИЦЫ**

*Памяти  
Элиэзера Штайнберга*

Черновицы –  
город холмов.  
Балкон наверху  
над розарием.

Кто знает его:  
карлика и гиганта,  
Элиэзера Штайнберга, –  
сочетание  
камней с горами.

Черновицы –  
родина сна.  
Дом большой  
над розарием.

Жил здесь мужчина –  
полукарлик, полугигант  
в мансарде,  
словно в ковчеге.

Эта земля мне подарила,  
просто за так  
дыханье бесед.

Кротом и мышью,  
кольцом и розой –  
всю бестелесную жизнь  
Элиэзера.

## МЫ ИГРАЕМ ПАСХУ

Мы с детской радостью играем Пасху,  
конец зимы мы этим отмечаем.  
И запах пасхи с золотистым светом  
к полёту снежных хлопьев приобщаем.

И Пасхи разукрашено звучанье,  
в фиалковой игре на флейте и органе  
от солнца, – это Пасхе доверяем.

Играем шумный танец мы свободно,  
и гиацинты, и листочки с нами  
с пасхальным запахом,  
со старыми друзьями,  
заводим новых мы на целом свете,  
и ощущаем, что мы снова дети.

*С польского*

**ВЛАДИСЛАВ ШЛЕНГЕЛЬ**  
(1914 – 1943)

## ЕВРЕЙСКОЕ ОКНО

Наше тёмное еврейское окно,  
в парк Красинского проклянуто оно,  
где промокли все деревья под дождём,  
утром, в сумерки лиловые и днём.

Я – еврей, и в этом вся моя вина,  
в парк не смею посмотреть я из окна,  
неожиданно нарушу я запрет,  
не видать мне больше в жизни белый свет.

Нам внушают, что мы черви и кроты,  
мир должны воспринимать из темноты,

исполнять должны мы подневольный труд,  
а иначе в порошок нас всех сотрут.

Всё иное навсегда запрещено,  
но особо – не выглядывать в окно,  
но, когда на день опустит шторы ночь,  
страх пытаюсь на мгновенье превозмочь,

чтоб припасть к окну, увидеть силуэт,  
угасающей Варшавы тусклый свет,  
запах города родного бы вдохнуть  
прежде, чем уйти в последний путь,

башню Ратуши, знакомые дома,  
разглядеть не помешает даже тьма,  
театральной нашей площади квадрат,  
входа главного торжественный фасад.

Помогает всё увидеть из окна,  
верный друг, всегда лукавая луна.  
Остриём своим мне в сердце ночь впилась,  
но свой взгляд не отведу я, не страшась.

В городской пейзаж гляжу я, в тёмный мрак,  
забывая, что хозяйничает враг.  
Впечатлений много, хватит на потом,  
я прощаюсь, словно закрываю дом.

Засыпая, возбуждённо я шепчу:  
«Отзовись, Варшава, я помочь хочу!»  
Вдруг по городу роялей слышен звук,  
и гремят аплодисменты тысяч рук.

Позабыв об оккупантах и тоске,  
как довесок неожиданный в пайке,  
будто хочет он унынье растолочь,  
«Полонез» Шопена разрезает ночь,

клавикордов звуки чётки и ясны,  
чтоб воспрянуть от зловещей тишины.  
Понимаю: видно, Бог послал с небес,  
этот, всем необходимый, «Полонез».

Как давно поведал нам один мудрец,  
даже радости присуц всегда конец.  
Да, окончен этой ночи яркий всплеск,  
и в рояли возвратился «Полонез».  
Хоть душа моя вконец воспалена,  
отхожу я от еврейского окна.

### СТАНЦИЯ ТРЕБЛИНКА

По маршруту Тлуш-Варшава  
от вокзала Ост  
едешь прямо и направо,  
объезжаешь мост.

Шесть часов всего в дороге  
Тащат поезда.  
Путь простой, но очень строгий –  
К смерти, – вот, беда.

Станция едва заметна,  
ёлочки растут,  
но название конкретно, –  
Треблинкой зовут.

Нету кассы и багажных  
мест в помине нет,  
за мильон не купишь даже  
ты назад билет.

И родные не встречают  
на платформе той,  
тишина висит над краем  
мрачной пустотой.

Ёлки скукою объаты.  
Станционный столб  
молчалив. Витиевата  
надпись, словно долг.

«Это станция Треблинка» –  
вот рекламы глас.  
На платформе, строчкой длинной:  
«Выключайте газ!»

## Генриетта Ляховицкая

*Сидиши*

**МЕЛЕХ РАВИЧ**  
(1893 – 1976)

### ***ЗРЕЛИЩЕ МЁРТВЫХ ДЕТЕЙ***

Мой взгляд застыл, глаза окаменели – часами  
всматриваюсь я в картину эту,  
может быть, годами:  
вот дети гетто мёртвые лежат, лампадки слабые,  
угасли фитильки...  
Я цепенел, и вдруг заулыбались их личики,  
и в танце тела сплелись, как мотыльки.

Конечно, в танце сцеплены ручонки,  
они ведь только прилегли немного,  
им стало жарко. Скинув рубашонки  
лежат, и проступают рёбра  
из клеточек грудных. Я начал торопливо  
с самим собой без смысла говорить,  
без смысла и без слов, без звука  
губами беспрестанно шевелить.

Заходит солнце или, может, мир.  
Ночь поглотила жуткую картину.  
Я шёл по улице. Стояла тишина. Спокойно  
там фонари висели длинным строем,  
и мне пришло на ум, что в мире целом

светильники повесились так, словно...  
Сошёл с ума? Я? А быть может, он? Кто?  
Мне страшно было вымолвить то слово.

## **ХАНА ХЕЙТОВ**

*(даты жизни не известны)*

### **ОСТАВЛЕННОЕ ДИТЯ**

Деревушки бедной вид.  
На отшибе дом стоит.  
В нём девчонки и мальчишки,  
белокурые детишки,  
смотрят в небо сквозь окно.  
Хоть невелико оно,  
место есть и для дитя:  
глазки чёрные блестят,  
полные очарованья,  
щёчки – лишь для целованья,  
тёмнокудрая головка...

Мама пробиралась ловко  
по окраинам в ту ночь,  
чтоб дитя здесь спрятать смочь.  
Крепко-крепко обнимала,  
горько плача, целовала,  
говорила торопливо:  
«Будь послушным, терпеливым.  
Здесь теперь ты будешь жить.  
Идиш должен позабыть.  
Всё еврейское забудь,  
мальчиком литовским будь.  
Стань таким, как эти дети,  
и спасёшься ты от смерти».  
Маму за руки держа,  
плакал мальчик, весь дрожа:  
«Мамочка, не уходи!

Не могу я здесь один,  
быть хочу всегда с тобой.  
Забери меня домой!»  
Сердце матери в тревоге,  
ей давно пора в дорогу.  
Что там будет, впереди?  
Но, дитя прижав к груди,  
убаюкала его,  
малышонка своего.  
Напоследок на еврейском  
тихо-тихо спела песню,  
может быть, в последний раз.  
Слёзы отирая с глаз,  
вышла в путь, дитя оставив.  
Холод с ветром бились в ставни.  
Мать бредёт почти в бреду,  
сердцем чувствуя беду.  
Не видать вокруг ни зги.  
«Боже, Боже, помоги,  
охрани моё дитя!»  
Ветер буйствует, свистя...

Дом чужой с людьми чужими,  
бродит мальчик между ними,  
он не плачет, не кричит,  
как немой молчит, молчит.  
Имя Йоселе былое  
заменяли на другое.  
Не мила чужая жалость,  
детское сердечко сжалось.  
Сердце матери от сына  
вдалеке, всё чуя, стынет,  
хоть она не виновата.  
Мальчик выбежал из хаты.  
Одиноко ветер выл...  
Видно, Бог их позабыл.

*С немецкого*

## **ЭРИХ МЮЗАМ**

(1878 – 1934)

### **СВЯТАЯ НОЧЬ**

Недалеко от Вифлеема  
ребёнок из колена Сема  
в коровьем стойле родился,  
и хоть прошло так много лет,  
но рад тому поныне всяк,  
что он явился в этот свет:  
министры, и аграрии,  
буржуи, пролетарии –  
проверенные арии –  
все празднуют повсюду,  
Христа дивятся чуду.

(Его народу все века  
роднее всё же Ханука).

## **ДОВИД ЭЙНХОРН**

(1886 – 1967)

### **МОЙ НАРОД**

Избавителя ждёшь ты все двадцать веков с нетерпеньем,  
смотрит мир на тебя с удивленьем  
и не может понять, как взглянуть,  
чтоб постигнуть особый твой путь,  
от него обособленный провиденьем.

Устремляясь вперёд, остаёшься ты в прошлом. Доколе?  
Ты раб на свободе, но свободен в неволе,  
и далее провидец блестящий

порою слепец в настоящем –  
в сокрытой за тайной завесою доле.

Ты умеешь подняться наверх в бесконечные выси  
и низринуться вдруг, опозорен, зависим  
и в счастье своём, и в мученье.  
Вперёд и назад – назначенье  
дано тебе силой неведомой мысли.

Смотришь вдаль и себе для вина виноград собираешь,  
споришь с Богом, но в вере своей умираешь.  
Мир вести за собою способен,  
ты, вечно к нему приспособлен,  
свой блеск запылить так легко позволяешь.

Ищешь мира, но первым готовишь себя к истязаньям,  
веришь в будущее, но и ждёшь наказания,  
слушать рад ты, мечтатель-народ,  
про Мессии желанный приход,  
надежду хранишь ты и в горьких стенаньях.

О, как в жилах моих голос крови твоей ощущаю:  
поколений, ушедших, мне жить завещая –  
Богом ты освящён, мой народ,  
пусть весь мир для тебя эшафот,  
не дух твой – лишь плоть он в огне умерщвляет.

Никогда б не хотел я ни с кем поменяться судьбою,  
должен странствовать тоже я трудной тропою  
через многие тысячи лет,  
мечты и правды лелея свет,  
быть вместе гонимым по странам с тобою.

**КАДЬЯ МОЛОДОВСКИ**

(1894 – 1974)

**КОГДА НИКТО НЕ ЗОВЁТ МЕНЯ**

Моя мать не зовёт меня по имени –  
моя мать мертва.

Мой отец не зовёт меня по имени –  
мой отец далеко.

И Бог не зовёт меня по имени –  
так как Бог создал Пурим-шпиль  
и играет в ней пса,  
и воет так громко в ночи,  
что я палкой его прогоняю,  
чтоб в покое оставил меня.

Успокойся, моё сердце,  
успокойся немного, когда Бог исчез,  
успокойся немного,  
когда моё тело распято в терпении.  
Успокойся немного,  
пока не позовёт колокол,  
пока не позовёт горе,  
что висит, как мешок, на моей спине.  
Успокойся немного –  
немного без Бога.

*С польского*

**ВИСЛАВА ШИМБОРСКА**

(1923 – 2012)

**ЕЩЁ НЕ ПОРА**

В вагонах, на которых пломбы,  
где рельсами изрезана страна,  
всё едут, едут имена,  
бедой измучены, бездомны.

Имя Натан кулаком в стену вагона бьёт,  
имя Ицхак в помешательстве песню поёт,  
имя Сара воды дать скорей умоляет  
имени Арон – от жажды оно умирает.

Давида имя, нет, не прыгай на ходу,  
ты там обречено на горе, на беду.  
Для тех, кто хочет жить в стране свободно,  
такое имя больше не пригодно.

Для сына бы лучше славянское имя иметь,  
где по виду волос осуждён может быть человек,  
где отделяют добро ото зла, жизнь и смерть  
по именам и по разрезу век.

Не прыгай на ходу. А сын пусть будет Лехом.  
Не прыгай на ходу. Ещё не пора, остынь-ка.  
Не прыгай. Ночь отзывается эхом, как смехом,  
она передразнивает стук колёс на стыках.

Туча людская большая прошла над страной,  
но маленький дождь от неё – одна лишь слеза,  
маленький дождь, одна слеза, сухие глаза.  
Рельсы ведут в чёрный лес. Встал он стеной.

Так-то, так, колёса стучат на рельсовых стыках.  
Так-то, так. Лес без полян. Транспорты криков.  
Так-то, так. Ночью разбужена и не усну,  
так-то, так, стучит тишина об тишину.

## АНТОНИЙ СЛОНИМСКИЙ

(1895 – 1976)

### ЭЛЕГИЯ МЕСТЕЧЕК ЕВРЕЙСКИХ

Нет уже, нет больше в Польше еврейских местечек.  
В Хрубещёве, Карчёве, Бродах, Фаленицах  
Тщетно ищешь ты в окнах зажжённые свечи,  
Не услышишь напевов у дощатой божницы.

А пожитки евреев на помойках спалили,  
Кровь с песком, все следы были убраны сразу,  
И извёсткой с подсинькой чисто стены белили,  
Как на праздник большой или после заразы.

За местечком былым, тёмной ночью белея,  
Одинока луна над дорогой, нагая.  
Мне по крови родня – поэтичны евреи,  
Но им здесь не найти двух золотых лун Шагала.

Луны те над другой обитают планетой –  
Улетели в испуге пред молчаньем понурым.  
Нет уже тех местечек, где портной был поэтом,  
Часовщик был философ, брадобрей – трубадуром.

Нет местечек, где звуки святых песнопений  
С польской песней сливались так неразделимо,  
Где евреи седые под садовою сенью  
Горевали по стенам Иерусалима.

Нет уже тех местечек, промелькнули как тени.

## Анжелла Подольская

*С немецкого*

**НЕЛИ ЗАКС**

(1891 – 1970)

### НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

О, дети мои,  
смерть пронзила ваши сердца,  
словно тот виноградник,  
что изобразил Израиль  
в красном цвете на стенах  
целой земли.

Куда направляется Малая Святость,  
что ещё находится на моём песке?  
Сквозь уединение труб  
слышны голоса смерти:

Кладите на поля орудия мести –  
с этим покончено.  
Хлеб и металл, сёстры и братья  
недр земли.

Куда направляется Малая Святость,  
что ещё находится на моём песке?

## ЖЕНЩИНЫ И ДЕВУШКИ ИЗРАИЛЯ

Отдыхающими кустами  
окружена страна,  
погружённая в сновиденья.

Сарра печёт на кухне пироги,  
их ожидают во дворе люди.  
Прямо на земле.

Сарра перемешивает тесто так,  
как перемешаны звёзды,  
как крестьяне с любовью  
нежно вспахивают свою землю.

Остры запахи пряностей  
с ягодами и свёклой.  
Они промыты и заполнили миску.

Яркие красные продукты.

Глаза, полные грусти,  
обращены в Вечность,  
в её песочные часы,  
в чувственность лунного времени.

Тихо думают, глядя на  
оставленные свои следы  
на пути к Богу,  
на его просохшие родники,  
ощущая себя баркасами со снедью.

Ваши тени,  
женщины и девушки Израиля, –  
это полюса яркого света  
от золотого топаза  
и женского благословения.

## ИОВ

Дикая роза мучений  
бушует с давних времён,  
постоянно рвётся в другую сторону.  
Южный полюс твоего одиночества,  
словно стоишь ты в центре своей боли.

Глаза твои глубоки, голова наклонена,  
застыв среди ночи,  
как у ослепшего от победы охотника.  
Голос твой бессловесен,  
в нём замерло много вопросов.

Он вроде взывает к червям и рыбам.

Иов, ночные твои стражи рыдают.  
Одинокие сгустки твоей крови  
блекнут, обращаясь к солнцу.

## ИАКОВ\*

О, Израиль,  
с утра ты начинаешь борьбу,  
в ней все рождения с кровью.  
Острое лезвие петушиного крика  
прокалывает сердца людей.  
О, раны нашего дома.  
Каждую ночь и день.

Ты борец  
во плоти круговорота светил,  
в скорби ночной бессонницы,  
нарушенной рыдающей  
песней птицы.

О, Израиль,  
ты благостный напев счастья,

свежесть капель утренней росы,  
Твоего Самого Главного.

Ты наше счастье,  
погружённое в забвение.  
Стонущее на льдине  
от смерти к воскрешению  
грустного Ангела,  
проглядевшего глаза к Богу,  
так же, как ты!

*\*Иаков в Библии имеет второе имя – Израиль.*

## ХАСИДСКИЕ ТАНЦЫ

Ночь в предродовых схватках  
со знамёнами тризны смерти.

Чёрные шляпы.  
Божьи блики на них  
напоминают древнее море.

Оно словно взвешивает их  
и осуждает.

Блики летят на берег,  
проявляя  
разрезы земли, как чёрные язвы.

Язык ощутил мир на вкус.  
Он до конца пропел,  
он дышит загробным миром.

На Миноре  
молятся женщины – Плеяды.

Мы стали терпеливы  
к будущей смерти.

Прошлые смерти нами забыты.  
О, человеческий страх!  
Ты непреодолим.

Привыкание к смерти уходит в мечту,  
там гибнет она на подмостках ночи  
среди чѐргых осколков.  
И костлявая луна освещает руины.

О, человеческий страх!  
Ты непреодолим.  
Где носилки из лозы?  
Ангел покоя прикоснулся к нам  
тайным источником, что от усталости  
струится к смерти.

ИЗРАИЛЬ,

Ты невероятен  
в прошлом и настоящем.  
До смертного конца  
ты трудишься на Вечность.  
Словно в глубоком сне,  
подняв голову магической спирали,  
что округлила звериной маской  
небесные светила.  
Закружила вокруг созвездие Рыбы,  
и вихрем пролетая в Овене...

До проясненья запечатанного неба,  
Ты отчаянно, до сомнамбулизма,  
встречаешь Божью рану там,  
где бездна струится светом.

Израиль,  
ты торопишься к зениту,

накапливая всё от чуда Главного –  
грозу, что разрушает в горах  
твое болезненное время.

Израиль,  
ты нежнее птичьих песен  
и жалоб страдающих детей.  
Ты струишься по жизни  
Божьего источника,  
рождённого твоей кровью.

### ХАСИДСКИЕ ПИСЬМА

Всё благополучно в тайне.  
Слова в полёте  
дышат Вселенной.

Защита, как маска,  
обрамляет стороны  
звёздной новорождённой ночи.

Всё благополучно в тайне.  
Живёт источником  
сильным, как желание.

Сквозь существование  
личностей, рисующих себя,  
как песок в пруду.

Всё благополучно в тайне.  
И жизнь костей магического числа  
с продолжением,  
кровяющих свои вены.

Как солнечное затмение,  
по закону переходящее в боль.

Всё благополучно в тайне  
воспоминанием о жизни  
и предчувствием серой смерти.

И носильщики, тянущие  
страну через Иорданию.  
Надвигаясь, как стихия,  
как братья и сёстры...

И каменные сердца,  
ощувившие летучие пески,  
сохраняющиеся в полночь  
и хоронившие молнии жизни.

И Израиль, дерущийся с горизонтом,  
спящий под звёздными семенами  
с тяжёлыми сновидениями о Боге.

## Феликс Фельдман

*С немецкого*

**ТЕОДОР ШТОРМ**  
(1817–1888)

### ВОЗВЫШЕННАЯ ПЕСНЬ

Весь рынок опустел, пуста палатка,  
В рядах по ветру вьются тучи хлама,  
А среди рядов, в пыли и в беспорядке  
Сидит дитя еврея Абрахама.  
Лежит спокойно на руке чело,  
И грудь вздымается под лёгкой блузой;  
В глазах горячих солнечно светло,  
И зреют губы алые для музыки.  
Молчат уста и локон вьется черный  
Вкруг лба, как мыслей след минорный.  
Она в священный текст погружена  
И арфой короля поражена,  
Который златострунных звуков мёд  
Как песнь любви сионской деве шлёт.

*Сидши*

**ЛЕВИК ХАЛЬПЕРН**  
(1888 - 1962)

ПОЛОЖИ ГОЛОВУ

На плечо мне положи  
голову свою,  
дети могут засыпать,  
взрослым я пою.

Дети заняты игрой  
знают в играх толк,  
а играть с самим собой  
взрослых вечный долг.

Не пугайся, я ведь здесь,  
спи, доверься снам,  
ты уже заплакан весь,  
что привычно нам.

Вытри слезы, не тужи,  
я тебе спою;  
на плечо мне положи  
голову свою.

**АВРОМ РЕЙЗЕН**  
(1876 - 1953)

К СЧАСТЬЮ

Нужен дождь – погожий день,  
солнца просишь – ливень льёт;  
это что за дребедень,  
счастье, кто ж тебя поймет?

Хоть молю, прошу с утра,  
глухо счастье ко всему;

счастье, если ты игра,  
что ж, тогда игру приму...

Муки – песня; песня – мрак;  
где, скажи мне, власть твоя?  
Ты ведь попадешь впросак,  
плача, весел буду я.

Дай мне больше мук, изволь.  
Счастье! Буду честен,  
мук твоих люблю я боль –  
боль их сладких песен...

**ДАВИД ЭДЕЛЬШТАДТ**  
(1866 - 1892)

### ПОРТНОЙ

сидит портной в накидке,  
седой, худой портрет,  
в руках игла и нитки  
все пять десятков лет.

сидит, согнувшись втрое  
в трудах и день, и ночь,  
и стонет над раскроем,  
и гонит думы прочь!

года судьбы не милы  
в нужде и кабале!  
исчерпаны все силы  
и пусто на столе.

как вол трудом нагружен,  
в душе и страх, и мрак,  
поскольку франту нужен  
назавтра к балу фрак.

влитым сидеть он должен,  
ни складок, ни морщин,  
иначе втык положен  
и лучше не ропщи.

франт должен быть звездой,  
червовым стать тузом,  
иначе нет покою,  
что знает мир о том?

Портной выходит беден,  
напрасен был и труд,  
разбит, смертельно бледен,  
карман, как прежде, худ.

а босс платить не хочет,  
во фраке, мол, изъян:  
«и вновь трудиться ночи,  
и вновь пустой карман!»

в каморке, будто с неба,  
отца ждут и вестей,  
совсем немного хлеба  
и денег для детей.

«да где же взять мне денег,  
хотя б один пятак,  
а скряга босс скупенек –  
в морщинах, вроде, фрак!»

вот смерть уж на примете,  
и в жилах стынет кровь,  
на папу смотрят дети  
и хлеба просят вновь.

о, сытые магнаты,  
о, черствые сердца,  
на фраках у богатых  
кровь бедного отца.

**МОШЕ ТЕЙФ**

(1904 - 1966)

## РУССКИЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ

*Его душа подобна золотой арфе.**А. Луначарский.*

Полтава. Вся страна в огне,  
Махно. Звенят, скрестясь, булаты!  
Стрельба повсюду, дым в окне,  
из бочек водку жрут солдаты.

Ага! Вот тащат из избы,  
сейчас прирежут, вмиг зверея  
и отклоняя все мольбы,  
портного, старого еврея.

– Еврея отпусти! За что?! –  
Кричит в сердцах христианин...  
– А ну, борец, сам будешь кто?  
Ты, сострадалец – поп, раввин?

Он рвется к атаману в дверь:  
– Расстрелы, кровью плачет стенка!  
Ты человек иль дикий зверь?  
– Кто я? Владимир Короленко.

Полтава. Вся страна в огне,  
где пишут роковую повесть,  
интеллигент в лихой войне  
бесстрашно утверждает совесть.

## Марк Шейнбаум

*С немецкого*

### ПАУЛЬ ЦЕЛАН

(1920 – 1970)

#### ФУГА СМЕРТИ

Чёрное молоко зари пьём мы вечером  
мы пьём его в обед и утром мы пьём его ночью  
мы пьём его и пьём  
мы в воздухе роём могилу там не так тесно лежать  
Мужчина живущий в доме играет со змеями и пишет  
он пишет когда стемнеет в Германию  
о твоих золотых волосах Маргарет  
он пишет и выходит из дому и звёзды блещут  
он зовёт своих псов  
он зовёт своих жидов копать могилу в земле  
он приказывает нам играть к танцу  
Чёрное молоко зари мы пьём тебя ночью  
мы пьём тебя утром и в обед и вечером  
и не напьёмся им никак мы пьём и пьём  
Мужчина живущий в доме который играет со змеями  
пишет  
он пишет когда стемнеет в Германию  
твои золотые волосы Маргарет

Твои пепельные волосы Суламифь мы копаем могилу  
в воздухе где не так тесно лежать  
Он зовёт копайте поглубже в земную твердь  
вы вон те и эти пойте и играйте

он выхватывает железо из-за пояса  
и размахивает им его глаза отдают голубизной  
поглубже вонзайте лопаты вы вон те и эти  
играйте же дальше к танцу

Чёрное молоко восхода мы пьём тебя ночью  
мы пьём тебя днём и утром и вечером мы пьём и пьём  
мужчина живёт в доме золото твоих волос Маргарет  
пепельные твои волосы Суламифь он играет со змеями  
он призывает играйте слаще о смерти смерти  
это мастер из Германии  
он повелевает и смычок жалостно касается скрипки  
и тогда вы возноситесь дымом вверх

и вот у нас уже наша могила в облаках  
где лежать и вовсе не тесно

Чёрное молоко утра мы пьём тебя ночью  
мы пьём тебя в обед мастер из Германии  
мы пьём тебя вечером и утром мы пьём и пьём  
смерть это мастер из Германии с голубым взором  
он попадёт в тебя свинцовой пулей не промахнётся  
мужчина живёт в доме твои золотые волосы Маргарет  
он натравливает своих кобелей и дарит нам  
могилу в воздухе  
он играет со змеями и снится ему мастер смерти  
из Германии  
золото твоих волос Маргарет  
пепел твоих волос Суламифь

## Давид Яновский

*Сидши*

**ИЦИК ФЕФЕР**

(1900 – 1952)

ИХ БИН А ИД

Презренье много поколений  
Меня кололо и пекло,  
Но море горя и мучений  
Я вынес всем врагам назло.  
В потоке общей неприязни  
Я сохранил свой мир, свой быт,  
И я кричал во время казни:  
Их бин а ид! Их бин а ид!

Уроки стойкого Акивы  
И мудрость Иешаи слов  
Учили мести справедливой,  
Внушали к истине любовь.  
Я сын героев-Маккавеев,  
Их кровь во мне всегда кипит,  
И гордо говорю везде я:  
Их бин а ид! Их бин а ид!

На горе недругам беспечным,  
Что злую смерть готовят мне.  
Под знаменем свободы вечным

Счастливым буду я вдвойне.  
И в час, когда придут силы  
И сад цветущий зашумит,  
Увижу я врагов могилы.  
Их бин а ид! Их бин а ид!

*С немецкого*

### **МАША КАЛЕКО**

(1907 – 1975)

#### **КАДИШ**

На нивах Польши – маков красный крик,  
И караулит смерть в лесах под мёртвым небом.

Гниют снопы в полях,  
Все пахари в гробах,  
И матери в слезах,  
И дети просят хлеба.

Лишившись гнёзд, все птицы замолчали,  
Леса над Вислой почернели от печали,  
И ветви их раскачиваться стали,  
Как бородатые евреи на молитве.  
Поют псалмы, о милости моля,  
Напившись крови, содрогается земля,  
И камни плачут.

Кто будет дуть теперь в шofар победный  
Для тех, кто спит навек здесь под травую бледной,  
Для сотен тысяч тех, когда-то сильных,  
Чьих нет имён на плитах надмогильных?  
Их перечислить всех лишь Богу по плечу,  
Будь в Книге жизни счёт налажен строже.  
Мольбу деревьев ты услышь, о Боже!  
Сегодня мы зажжём прощальную свечу.

**МАКС БРОД**

(1884 – 1968)

**УРОК ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОГО**

Мне было тридцать лет, когда я начал  
Учить язык народа своего. И мне  
Казалось: эти тридцать лет глухим я был.

Меня вдруг потрясло то, что давно таилось.  
Оно меня, как молния, пронзило.  
Забытые во мне проснулись звуки,

Что в колыбели я слышал когда-то.  
Они сопровождали детство, юность  
И первую любовь, и возмужанье.

Но слишком поздно колыбельная вернулась.  
Ко мне она вернулась злым упреком  
И как раскаты грома, принесла

Она сумятицу и боль. Но я покорно  
Склонил пред нею голову: так мать  
Ругает в гневе нас. И это было

Слияние потоков, звон пустыни,  
Забытый звук шофара; и как будто  
Меня с горы позвал наш старый Бог.

**ГЕНРИХ ГЕЙНЕ**

(1797 – 1856)

**ПРИНЦЕССА СУББОТА**

Видим мы в арабских сказках  
Заколдованного принца;  
Иногда прекрасный облик  
Он обратно получает.

И становится на время  
Волосатый монстр – принцем.  
Разодет и разукрашен,  
Держит флейту он в руках.

Но проходит срок заклатья,  
И мы видим, как внезапно  
Королевский отпрыск снова  
Волосами обрастает.

Одного такого принца  
Воспеваю я. Израиль  
Называется он. Ведьмой  
Превращён он был в собаку.

Мысли у него собачьи,  
И шныряет всю неделю  
Он по грязным подворотням  
На потеху беспризорным.

Но по пятницам под вечер,  
Колдовство вдруг пропадает,  
И становится собака  
Человеком в этот миг.

Благородны чувства принца,  
Благородны ум и сердце.  
Чисто, празднично одетый,  
Он вступает в отчий дом.

«Здравствуй, долгожданный, царский  
Моего отца дворец.  
Я целую столб у входа,  
В пышный Якова шатёр».

Вдруг по дому пробегают  
Шум таинственный и ветер,  
И невидимый хозяин  
Дышит жутко в тишине.

Тихо. Только сенешааль  
(Проще, служка в синагоге)  
Прыгает то вверх, то вниз,  
Зажигая лампы в доме.

Как отрадно золотые  
Здесь светильники сияют!  
И вокруг бимы\* пылают  
Ярко свечи на перилах.

Пред ковчегом, где хранятся  
Свитки Торы за завесой  
Из блистающего шёлка  
С драгоценными камнями –

Там стоит уже у пульта,  
В чёрный плащик наряжённый,  
Человечек элегантный –  
Это кантор синагоги.

Суетливо потирает  
То висок он свой, то шею,  
Демонстрируя при этом  
Руку белую свою.

Он тихонько напевает,  
А потом всё громче, громче,  
И звучат, затем ликуя,  
«Лехо дауди ликрас калэ!»\*\*

Лехо дауди ликрас калэ –  
Ты приди скорей любимый,  
Ждёт давно тебя невеста,  
Чтоб открыть лицо смущённо».

Эту свадебную песню,  
Сочинил поэт великий,  
Всем известный миннезингер,  
Дон Иегуда бен Галеви.\*\*\*

Он прославил в песне свадьбу,  
Брак Израиля с Субботой,  
Тихой госпожой принцессой,  
Красоты цветком прекрасным.

В ней, жемчужине Востока,  
Больше прелести, чем даже  
У самой царицы Савской,  
У подружки Соломона.

Эфиопка эта тщетно  
Колко умничать пыталась,  
И загадками своими  
Только скуку наводила.

Наша тихая Суббота –  
Воплощение покоя,  
И принцесса ненавидит  
Споры, ссоры и дебаты.

И не нравится ей также  
Показной нелепый пафос,  
Пафос громких декламаций,  
Вид распущенных волос.

Скромно тихая принцесса  
Косы под чепцом скрывает,  
Стройная, как мирт цветущий,  
Смотрит скромно, как газель.

И любимому принцесса,  
Все улады разрешает  
В этот день – «Лишь не кури!  
Ведь сегодня день субботний.

Но взамен сегодня в полдень  
Ты услышишь дивный запах,  
Запах сказочного блюда –  
Будешь кушать чолнт сегодня!»

Чолнт, прекрасный дар Господень,  
Сын Элизиума ты!\*\*\*\*  
Так его воспел бы Шиллер,  
Если б мог он чолнт отведать.

Чолнт – божественное блюдо.  
Бог когда-то Моисея  
Научил его готовить  
На горе святой Синая,

Где Всевышний в то же время  
Дал нам всем основы веры,  
Дал и заповедей десять  
В грозном зареве зарницы.

Чолнт амброзией кошерной  
Дан нам Богом справедливым,  
Это хлеб блаженный рая,  
И в сравненье с этим блюдом

Просто мерзкие помои  
Та амброзия, что ели  
Боги лживые Эллады,  
Маскированные черти.

Съест свой чолнт наш принц довольно  
Расстегнёт жилетку; ярко  
Заблестят глаза, и скажет  
Он с блаженною улыбкой:

«То не шум ли Иордана?  
Иль источника журчанье,  
Между пальмами Бэт-Эля,  
Где верблюды отдыхают?»

Слышу ль звон я колокольцев?  
Может быть баранье стадо  
Гонит вниз пастух под вечер,  
С гор пустынных Гилеада?»

Но прекрасный день проходит,  
 Всё длинней деревьев тени,  
 Вот приходит превращенья  
 Горький час, – и принц вздыхает.

Кажется ему, что в сердце  
 Ледяные пальцы ведьмы  
 Впились и грозят кошмаром  
 Превращения в собаку.

Подаёт принцесса принцу  
 Нард в шкатулке золоченой,  
 Медленно вдыхая, хочет,  
 Вновь вкусить он чудный запах.

А ещё подносит принцу  
 Госпожа прощальный кубок.  
 Жадно пьёт он: остаются,  
 В кубке только две-три капли.

Ими стол он окропляет,  
 А потом берёт он свечку,  
 И во влагу опускает;  
 Вмиг свеча шипит и гаснет.

*\*Бима – возвышение в синагоге для публичного  
 чтения Торы и ритуальных песнопений.*

*\*\*Лехо дауди лкрас калэ – иди, возлюбленный,  
 навстречу невесте. \*арам,)*

*\*\*\*Иегуда бен Галеви (Иехуда ха-Леви) – еврейский  
 поэт и философ (1075 - 1141) Гейне ошибся.*

*В действительности автором этого произведения  
 является каббалист и поэт - мистик*

*Шламо бен Моше ха-Леви Алкабец (1505 -1584).*

*\*\*\*\*Гейне пародирует первые строки оды Шиллера  
 «К радости»*

**МЕМОУАРЫ. ЭССЕ.  
ПУБЛИЦИСТИКА**



Карл Абрагам

### БАВАРСКИЙ КВАРТАЛ

*Память о шести миллионах невинно убитых евреев Европы запечатлена в стихах, музыке, учёных книгах и простеньких рассказах, в живописи, скульптурах и мемориалах. Я расскажу вам об одном необычном памятнике жертвам Холокоста, о котором даже не каждый коренной житель Берлина знает.*

*Садитесь на седьмую линию берлинской подземки, сойдите на остановке «Байришер плац» и поднимитесь наверх. А теперь пройдите по тихим тенистым улочкам этого района, в котором до войны жило много евреев и который был известен как «Баварский квартал». Идите неспешно, поднимите чуть голову, и вы увидите на фонарных столбах небольшие памятные таблички, которые мгновенно перенесут вас из лучезарного «сегодня» в Берлин времён фашистской диктатуры. Прочитайте их, и вы поразитесь, с каким тщанием и размахом нацисты организовали вначале травлю, а затем и уничтожение немецких евреев. Оставляя эти таблички с надписями без комментариев, я расположил их в хронологической последовательности и сопоставил с наиболее позорными фактами из истории третьего рейха. Прочтите эти надписи, и на вас пахнёт могильным холодом.*

**Год 1933****30.01.33 – приход Гитлера к власти.****28.02.33 – поджог Рейхстага.**

*Евреям-адвокатам и евреям-нотариусам города Берлина ведение юридических дел впредь запрещено.*

*Начиная с 1 апреля 1933 года больничные кассы счета за лечение у врачей-евреев не оплачивают.*

*Всем окружным ведомствам предлагается преподавателей-евреев из государственных школ немедленно уволить.*

*Еврей-чиновники госучреждений подлежат увольнению.*

*Пользование пляжем на озере Ванзее евреям запрещено.*

*Генетика и расовая теория вводятся во всех школах как обязательный предмет.*

**Год 1934**

*Запрет на профессию для артисток и артистов еврейского происхождения.*

**Год 1935**

**15.09.35 приняты «Нюрнбергские законы», лишившие евреев гражданских прав.**

*Для писателей-евреев любая литературная деятельность подлежит запрету.*

*Запрет на профессию для евреев-музыкантов.*

*Заключение брака и внебрачные связи между немцами и евреями наказываются каторжной тюрьмой. Браки, заключённые в нарушении этого закона, считаются недействительными.*

**Год 1936**

*Ветеринарным врачам-евреям запрещено заниматься врачебной практикой.*

*Журналисты и их супруги должны доказать своё арийское происхождение, начиная с 1800 года.*

*При решении вопроса о расовой принадлежности крещение евреев и переход их в христианство значения не имеют.*

### **Год 1937**

*Почтовые чиновники, женатые на еврейках, отправляются в отставку.*

*Запрет на защиту диссертаций евреями.*

### **Год 1938**

**09.11.38 – еврейский погром, вошедший в историю как «Хрустальная ночь».**

*Евреи не имеют права заниматься врачебной практикой.*

*Дополнительно к своему имени еврей должен прибавлять имя «Израиль»,*

*а еврейка – «Сара».*

*Посещение евреями театров, кинотеатров и концертов запрещено.*

*Детям-евреям запрещено посещать государственные школы.*

*Посещение евреями определённых районов Берлина запрещено.*

*Детям арийского и неарийского происхождения играть друг с другом запрещено.*

*Водительские права евреев считаются недействительными.*

*Запрет на профессию для евреек-акушеров.*

### **Год 1939**

**01.09.39 – начало Второй Мировой войны.**

*Запрет на все виды профессий для евреев.*

*Еврейские культовые учреждения должны сами устранять следы разрушения синагог. Восстановление их запрещено.*

*Выдача евреям карточек для получения одежды прекращается.*

*Евреям запрещено покидать свои квартиры после 8 часов вечера.*

*Евреи, имеющие украшения, изделия из золота, серебра, платины и жемчуга, обязаны их сдать.*

**Год 1940****Июнь 1940 года – создание концлагеря в Освенциме.**

*Телефоны евреев подлежат отключению.*

*Евреи могут покупать продукты питания только между четырьмя и пятью часами пополудни.*

**Год 1941****22.06.41 – нападение Германии на СССР.****18.10.41 – начало массовой депортации берлинских евреев.**

Все евреи в обязательном порядке привлекаются к принудительным работам.

Мыло и крем для бритья евреям продавать запрещено.

Все евреи старше шести лет должны на одежде носить шестиконечную звезду и надпись «Jude».

Запрет на эмиграцию евреев.

**Год 1942**

О чем думали евреи, покидавшие свою страну навсегда? Вот только две записки, оставленные несчастными, помеченные 16 января 1942 года:

*«Пудреницу я оставляю тебе как маленькое напоминание о себе. Пользуйся ею чаще, тогда ты будешь каждый раз вспоминать меня. Ваша глубоко опечаленная Эльза Штерн».*

*«Вот и всё... Завтра я отправляюсь в дорогу, и это меня, конечно, глубоко ранит. Я буду тебе писать».* Подписи нет.

Обречённые знали, что депортация ничего хорошего им не сулит, но они ещё не знали, что их увозят, чтобы убить. Они ещё на что-то надеялись.

**20.01.42 – Ванзейская конференция, посвящённая «Окончательному решению еврейского вопроса».**

*Принудительная сдача евреями шуб и шерстяных вещей.*

*Булочные и кондитерские обязаны вывесить объявления, запрещающие продавать евреям кондитерские изделия.*

*Евреи не имеют право покупать газеты и журналы.*

*Квартиры еврейских семей должны быть в принудительном порядке помечены шестиконечной звездой.*

*Евреям запрещено содержать домашних животных.*

*Сигареты и сигары продавать евреям запрещено.*

*Евреи не имеют права на получение яиц.*

*Свежее молоко отпускать евреям запрещено.*

### **11.07.42 – начало депортации берлинских евреев в Освенцим**

*Отпуск евреям мяса, колбасных изделий и других продуктов по карточкам прекращается.*

*Продажа книг евреям запрещена.*

После этого других распоряжений, ущемляющих права и достоинство берлинских евреев, в общественных местах города больше не появлялось.

### **27.01.45 – Освобождение советскими войсками Освенцима. Распоряжение имперского министерства экономики от 16.02.45.**

*Архивные документы, свидетельствующие о преследовании евреев, подлежат уничтожению.*

Для справки: к осени 1941 года в Берлине оставалось 73 тысячи евреев; из них войну пережили шесть тысяч.

## ЕВРЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА БЕРЛИНА В ГОДЫ НАЦИЗМА

### *Вместо предисловия*

В самом центре Берлина, в районе Wedding, находится Еврейская больница. Когда-то в ней работали мои родители. Папа – врачом, ассистентом профессора Г. Штрауса, мама – медицинской сестрой. В 1929 году они поженились и отец перешёл работать в Neukölln врачом тубдиспансера. После прихода Гитлера к власти отца как лицо «неарийского происхождения» с работы уволили, и осенью 1933 года мы эмигрировали в Советский Союз. Перед отъездом папа зашёл к профессору Штраусу попрощаться. Узнав, что мы уезжаем в Россию, профессор воскликнул: «Куда вы едете?» Ни тот, ни другой не знали, что лучшие годы своей жизни отец проведёт в сталинских лагерях. Время показало, что и профессор сделал неправильный выбор. Посетив в 1937 году Палестину, он возвратился в Германию, где в 1942 году был арестован и сослан в концлагерь Терезин. Там он и погиб. Профессор Герман Штраус заведовал отделением внутренних болезней Еврейской больницы с 1911 года вплоть до ареста.

Прошли годы, десятки лет. Дома всегда с особой теплотой вспоминали Еврейскую больницу, с большим уважением говорили о профессоре Штраусе.

И это тепло, это уважительное отношение к коллегам вошло в меня и стало частью моей жизни. Спустя 58 лет мы с мамой вернулись на родину, и наше знакомство с городом началось, естественно, с Еврейской больницы. Принял нас заместитель главного врача. Узнав о мамином недуге, он предложил ей лечь в больницу на обследование. Персонал сердечно отнёсся к новой пациентке, признав в ней свою коллегу. Из бывших сотрудниц в живых мама уже никого не застала. При выписке маме подарили книгу о Еврейской больнице. Из неё мы узнали о страшной судьбе врачей, сестёр и обслуживающего персонала больницы в годы нацизма, об их нечеловеческих усилиях по спасению больных, о людях, которые делали всё возможное, чтобы уберечь евреев от гибели.

Беспомощность больного сама по себе унижительна. Преследование и дискриминация его преступна. О трагических событиях того времени, о жизни Еврейской больницы Берлина тех лет мне хотелось бы рассказать в предлагаемом очерке.

С приходом Гитлера к власти количество больных в Еврейской больнице резко пошло на убыль. Это произошло по двум причинам: во-первых, в связи с тем, что больничные кассы перестали оплачивать счета за лечение у врачей-евреев, во-вторых, за счёт уменьшения числа больных, лечение которых до этого оплачивало социальное ведомство. Вскоре картина изменилась к лучшему: врачи-евреи, уволенные из других больниц Германии, в том числе и из берлинских, в поисках работы, устремились в Еврейскую больницу. Были открыты новые отделения: кожных и нервных болезней, отделение уха, горла и носа. Научный уровень врачей и профессуры был исключительно высок. Многие думали, что нацисты оставят Еврейскую больницу в покое. Между тем, в больницу стали поступать жертвы антисемитского произвола. В истории болезни следовало избегать упоминаний о причинах побоев и ранений. Так нужно было, чтобы не ставить под угрозу само существование Еврейской больницы. В 1935 году количество госпитализированных заметно увеличилось. При этом только 2/3 больных были евреями – остальные христианами. Период с 1933 до середины 1938 года были для Еврейской больницы относительно спокойными. Больница была местом убежища для больных евреев. Правда, сотрудники знали только дорогу из дома на работу и обратно. Появление в кино, на танцах, в театре и других общественных местах из-за частых облав было небезопасно.

В июле 1938 года у врачей-евреев было отнято право заниматься врачебной деятельностью. Врачи Еврейской больницы находились в лучшем положении, чем врачи-евреи других больниц и практик: они могли продолжать свою работу.

Однако, врач уже не имел права называть себя врачом, а только «Krankenbehandler», т.е. «обслуживающим больного». Летом 1938 года все больные неевреи были выписаны из Еврейской больницы либо переведены в другие лечебницы.

Первые заключённые из ближайшего концлагеря Заксенха-

узен стали поступать в Еврейскую больницу в конце 1938 года. Это были доходяги, которых доставляли в больницу с гнойными ранами и гангреной. Замордованные, запуганные люди ничего не рассказывали о том, что с ними делали в концлагере. Когда к ним обращались, они, лёжа в постели, вытягивались по стойке «смирно» и на все вопросы отвечали «да» или «нет». Они никак не могли привыкнуть к тому, что находятся среди людей, которые готовы им помочь. Тем не менее, персоналу следовало соблюдать осторожность, т.к. среди поступающих находились и провокаторы. Газовая гангрена с трудом поддавалась лечению. Больных лечили, используя украдкой неприкосновенный запас медикаментов, предназначенных для немецкой армии. И всё же одна треть пациентов с гангреной скончалась. Тем, которые выжили, ещё целый год проводились пластические операции по пересадке кожи. Зав. хирургическим отделением доктор З. Островский писал в своих воспоминаниях, что доставка искалеченных узников из концлагеря в больницу объяснялась, по его мнению, не гуманными соображениями гестапо, а имело одну единственную цель: ускорить эмиграцию евреев из Германии. Дескать, смотрите, что с вами будет, если вы не уедете. Кроме этого, в больницу поступали заболевшие узники берлинских тюрем, где для них было развёрнуто полицейское отделение на 40 коек. Окна в отделении были зарешечены, двери постоянно заперты. Обслуживание заключённых осуществлялось сотрудниками больницы.

Период с ноября 1938 г. до первого сентября 1939 года был годом принудительной эмиграции евреев. За это время из Еврейской больницы уволилось примерно 80 врачей и медицинских сестёр. Покидавших страну обирали до нитки: всё их имущество конфисковывали, а денежные вклады замораживали. Человек мог взять с собой только 10 райхсмарок. После ноябрьского погрома еврейские больницы в городах Бреслау (ныне – Вроцлав), Кёльн, Гамбург и Ганновер были закрыты. Наиболее тяжело пострадавшие во время погрома евреи поступали со всей Германии в Еврейскую больницу Берлина.

В 1938 году при больнице была создана партячейка национал-социалистов, которую возглавил машинист лифта. Ячейка

осуществляла контроль за деятельностью больницы. В задачу партачейки входило ещё и наблюдение за «неблагонадёжными». Следовало соблюдать крайнюю осторожность в работе, и не давать повода для доносов.

Несмотря на нехватку персонала, больница продолжала работать с полной нагрузкой, и оставалась учебным центром по подготовке медсестёр. Последний сестринский курс начал свою работу в марте 1941 года. Окончившая курс и сдавшая экзамен получала звание «Еврейской медсестры» с правом обслуживания только евреев.

С 1940 года начались налёты английской авиации на Берлин. При объявлении воздушной тревоги персонал вместе с больными спускался в подвал.

Годы 1941-1943 – наиболее трагичные для еврейской общины Берлина. В конце сентября 1941 года во время богослужения в честь праздника Йом Кипур главный раввин общины Лео Бек получил приказ о немедленном превращении синагоги на Levetzowstr. в сборный пункт для депортации евреев на восток. На этом пункте работали сотрудники Еврейской больницы. В число депортируемых входили жильцы дома престарелых со своим медперсоналом, который не имел права принимать участие в подготовке к отъезду. Многие престарелые люди от страха мочились под себя. Их приходилось пеленать. Не успевали перепеленать последнего, как первые опять были мокрыми. Контакт с сёстрами дома престарелых сотрудникам Еврейской больницы был категорически запрещён.

С началом массовой депортации среди евреев участились случаи самоубийств. Несчастные либо принимали цианистый калий, либо запирались в квартире и включали газ. Все они поступали в Еврейскую больницу. Пытавшихся покончить с собой было так много, что разместить их могли только в водолечебнице. Персонал поначалу не знал, что с ними делать, живые они или мёртвые. Сперва всем промывали желудок. В лавине суицидов возникали и этические проблемы: а нужно ли их оживлять? Мнения сотрудников разделились: одни считали, что нужно, другие были противоположного мнения: «Дайте спокойно умереть человеку». Ведь сама попытка самоубийства жестоко каралась властями. Тех, кого

удавалось спасти, помещали в полицейское отделение больницы. Там их лишали еды и с первым же транспортом отправляли на восток, в лагеря смерти. Если кому-то удавалось бежать из полицейского отделения, то дежурившая медсестра тут же отправлялась в концлагерь. Начиная с октября 1941 года, около 7000 евреев Берлина покончили с собой.

До сентября 1942 года Еврейская больница была переполнена. Хирургическая активность достигла своего пика. Особенно много операций было произведено в глазном отделении. Чтобы уберечь людей от депортации или отсрочить её, нередко производились мнимые операции. Лишь к концу 1942 года число операций пошло на убыль. Это произошло в результате депортации не только еврейского населения Берлина, но и части сотрудников больницы. С 1941 по 1942 персонал Еврейской больницы уменьшился по этой причине примерно на 100 человек. Несмотря на людские потери, руководство больницы поддерживало среди сотрудников строжайшую дисциплину. Возможно, что только за счёт чувства постоянного страха быть отправленным в один из лагерей уничтожения, люди нормально работали. Не нам рассуждать о психологии страха и поведении людей в тех условиях. Никто из переживших Катастрофу не рассчитывал выжить. Каждый день мог быть последним в жизни сотрудника. Но страх не всегда парализует волю человека, к нему иногда просто привыкают. Вот что вспоминает одна из бывших медсестёр, работавшая в то время в больнице: «Мы не думали, что переживём этот ужас, и почти свыклись с мыслью о смерти. К концу войны я уже не боялась ни бомбардировок, ни гестапо. Ну разве что «чуть-чуть». Но не настолько, чтобы воздержаться от кражи овощей. Коров, которые содержались во дворе больницы, я боялась по-настоящему. Не дай бог столкнуться ночью с бодливой коровой во дворе».

В марте 1941 года всех евреев Германии привлекли к принудительным работам. В то время это было благом, ибо с 1939 года, власти ввели для евреев запрет на все виды профессий, что обрекало их, по сути, на голодную смерть. До конца 1942 года между вермахтом и гестапо существовало соглашение, по которому евреи, работающие на оборонных предприятиях, исключались из

числа депортируемых. С начала 1943 года руководство вермахта дало «зелёный свет» на депортацию евреев, занятых на фабриках и заводах. Так, в субботу, 27 февраля 1943 года, была осуществлена колоссальная по масштабу «фабричная акция». После этого число евреев в Берлине заметно уменьшилось, как и количество больных в стационаре. С марта 1943 года в больнице проводилось не более 30 операций в месяц.

Спустя два месяца после начала массовой депортации (октябрь 1941) при Еврейской больнице был создан пункт врачебной экспертизы депортируемых. Его возглавил доктор Walter Lustig – член президиума «Имперского объединения евреев Германии». Деятельность его была целиком под контролем гестапо. По мере сил и возможностей в этом пункте пытались уберечь или, по крайней мере, отсрочить депортацию евреев. Здесь решался вопрос о транспортабельности жертвы. В диагностическом отделении этого пункта работало 6 врачей, 6 сестёр и 6 секретарей-машинисток. Кроме того, двое врачей осматривало лежачих больных на дому. По вечерам врачи диктовали протоколы обследования больных и делали по каждому случаю свои выводы. Из числа депортируемых исключались больные с туберкулёзом в конечной стадии и страдающие грудной жабой в тяжёлой форме. Беременных можно было спасти от транспортировки в том случае, если роды были в ходу. Через 6 месяцев ребёнка с мамой отправляли на восток. Были и другие заключения. Например: «по состоянию здоровья не транспортабелен, через некоторое время нуждается в повторном осмотре», или «для восстановления трудоспособности подлежит лечению». Признанные «практически здоровыми» включались в списки «эвакуируемых». Гестаповцы постоянно прибегали к такого рода эвфемизмам, чтобы скрыть от жертв истинную цель своих намерений. Вместо слова «депортация» использовались более «щадящие» термины: переселение, эмиграция, эвакуация и т.п.

Летом 1942 года в Еврейской больнице было развёрнуто психиатрическое отделение на 120 коек. Сюда поступали душевнобольные евреи со всего рейха. Большая часть больных других психиатрических лечебниц Германии уже в октябре 1941 была вывезена в лагеря уничтожения. Многие больные были с иностранными па-

спортами. Как только срок действия их истекал, они становились людьми без гражданства, и их тут же отправляли в концлагерь.

В одну из суббот конца 1942 года все 100%-ные евреи (Volljuden) – пациенты Еврейской больницы были арестованы и депортированы. За ними последовали многие врачи и медсёстры.

В декабре 1942 года у больницы были конфискованы здания, в которых размещались общежитие для медсестёр, инфекционное и гинекологическое отделения. В одном из этих зданий разместился 147-й лазарет вермахта. Взаимоотношения с персоналом лазарета были нормальными. Сантехники Еврейской больницы имели возможность подзаработать в лазарете. За это их там кормили. Напомним, что сотрудники Еврейской больницы не получали ни мяса, ни молока, ни яиц, ни рыбы. И очень мало жира, хлеба и картофеля.

Депортация сотрудников Еврейской больницы происходила в несколько этапов. 20 октября 1942 года всем сотрудникам еврейской культовой общины предложили явиться в 7 часов утра на Oranienburger Straße 28. Собралось около 300 человек, в том числе и работники здравоохранения. В 10 часов явились представители гестапо и предложили доктору W. Lustig самому отобрать 100 человек для депортации. Это было для него тяжёлым испытанием (к тому времени он уже стал главным врачом больницы). О чём думал он в этот момент, мы никогда не узнаем. Поначалу он пытался уклониться от этой «привилегии». Тогда гестаповцы сами стали выхватывать из толпы первых попавшихся.

И только после этого Lustig приступил к отбору кандидатов на депортацию. Из 100 отобранных 18 бежало и перешло на нелегальное положение. Вместо них было арестовано и отправлено в концлагерь 18 других сотрудников.

Вторая крупная акция по депортации сотрудников Еврейской больницы произошла 19 марта 1943 года. Изначально гестапо хотело в этот день вообще ликвидировать больницу. Но доктору W. Lustig удалось как-то договориться с властями, чтобы больницу не закрывали. Гестапо настаивало на своём и требовало депортировать как минимум 50% персонала. Сценарий повторился: списки жертв должен был составить главный врач \*. Отобранные к депортации вместе

с семьями составили около 300 человек. В мае 1943 года была ликвидирована больница для пациентов с хроническими заболеваниями: она находилась на Augustastr. в районе Mitte. Врачи и обслуживающий персонал последовали вместе с больными в концлагерь.

10 июня 1943 года прекратила своё существование еврейская община Берлина. Все евреи, не состоявшие в браке с христианками (или с христианами), должны были явиться на сборный пункт на Großer Hamburger Straße 26. 16 июня они были отправлены в концлагерь Освенцим. В тот же день всё имущество «Имперского объединения евреев Германии» было конфисковано. Его оценили в 8 миллионов рейхсмарок.

К весне 1944 года, когда «план депортации» был выполнен, все сборные пункты для евреев, подлежащих депортации, были за ненадобностью расформированы.

После «фабричной акции» в Еврейскую больницу пришли новые сотрудники. В стационаре лежало около 40 больных. Это были евреи от смешанных браков. Такие больные съезжались в Берлин со всей Германии. Если, не дай бог, партнёр нееврей умирал, то больного по выздоровлении отправляли в концлагерь. Врачей и сестёр в больнице не хватало. Больные получали только таблетки и уколы. Но операции проводились даже в подвале, во время бомбардировок, при свечах. Спектр операций был невелик, только самое необходимое: обработка ран, иммобилизация переломов, иногда операции по поводу аппендицита или ущемлённой грыжи. Насколько возможно, соблюдалась стерильность.

После одной из тяжёлых бомбардировок района Wedding в 1944 году в Еврейскую больницу вновь стали поступать немцы. Как только они становились транспортными, их переводили в другие больницы города. Некоторые противились переводу, считая, что союзники антигитлеровской коалиции не станут бомбить Еврейскую больницу. Для переливания крови больница располагала только кровью доноров – евреев. Раненым немцам переливали кровь от доноров евреев лишь по особому разрешению высокого начальства.

Первого марта 1944 года патологоанатомическое отделение Еврейской больницы было конфисковано гестапо, огорожено от

остальной территории колючей проволокой и превращено в сборный лагерьный пункт для депортируемых. Сюда попадали те, которые скрывались и которых удалось выследить и схватить; это были люди, ожидавшие суда, а также «неясные» для гестапо случаи. Обслуживание заключённых возлагалось на главного врача больницы. Из этого сборного пункта было депортировано 394 человека.

Последний транспорт с узниками-евреями отправился в концлагерь Заксенхаузен в марте 1945 года.

Последние 14 дней войны персонал и больные провели в подвале. Тем не менее, больница как лечебное учреждение продолжала функционировать. С 21 по 24 апреля 1945 года в больнице были обработаны четыре огнестрельных ранения. Среди раненых было два немца, один русский и один рабочий Еврейской больницы. Последняя роженица разрешилась живой девочкой 14 апреля 1945 года. После этого рукой акушерки в родовом журнале проведена красная черта. Гестапо покинуло больницу за восемь дней до капитуляции Берлина.

В актовом зале Красной ратуши Берлина мне довелось быть только однажды, в октябре 1991 года, на приёме устроенном правящим бургомистром столицы в честь бывших берлинских евреев, живущих за рубежом. То были люди, чудом пережившие Катастрофу, не пожелавшие после войны остаться в разрушенном городе. Они бежали прочь из страны, причинившей им столько зла, страны, в которой они потеряли родных и близких, страны, в которой прошла их молодость. Они хотели начать жизнь с чистого листа. И вот они снова в родном городе. На сей раз в качестве почётных гостей. Среди собравшихся обращаю внимание на относительно молодую улыбчивую женщину: на вскидку – не более сорока. В руках блокнот, всё время что-то записывает.

Мужчины моего возраста знакомятся с молодыми женщинами легко. Подхожу и спрашиваю: «А вы что здесь делаете?». Она, ничуть не смутившись: «То же, что и вы», «Но позвольте, вы же родились уже после войны», «Это не так, я родилась во время войны, в апреле сорок пятого». «И где же это произошло?». «В Еврейской больнице». Начинаю вспоминать: в апреле сорок пятого в Еврейской больнице рожала только одна женщина. Её звали Минна и

родила она девочку, которую нарекли... «Стало быть вы – Клаудия?» «Да, откуда вы знаете?» «И жили вы в районе Prenzlauer Berg на Schönhauser Allee 185». «Верно, но как вы меня вычислили?» «Понимаете, я довольно долго занимался изучением истории Еврейской больницы в годы нацизма. Среди сохранившихся документов я обнаружил и родовой журнал за сорок пятый год, в котором обо всём этом можно прочесть». «Надо же, как интересно, вы вроде бы, как присутствовали при моём появлении на свет». Оказалось, что моя собеседница – корреспондент газеты «Вашингтон пост». Она профессиональный журналист, является автором нескольких книг, в основном, на еврейскую тематику. Весь день мы гуляли по Берлину и я рассказывал ей о достопримечательностях города. Съездили мы и на Schönhauser Allee к дому, где она жила со своими родителями. А на следующий день мы встретились в вестибюле Еврейской больницы. История больницы отражена на стендах, которые размещены тут же. Велико было огорчение моей спутницы, не обнаружившей в холлах больницы или во дворе ни памятной доски, ни памятного знака – места, куда люди могли бы прийти и почтить молчанием живых и мёртвых, врачей и сестёр, нянечек и больных Еврейской больницы – единственного учреждения еврейской общины, пережившего годы нацизма. Она не могла определиться с цветами, которые принесла с собой. Как только мы покинули территорию больницы, Клаудия развернула букет красных роз, оглянулась и, преодолевая некоторое чувство неловкости, положила цветы к чугунной ограде.

*\* В конце 1945 года W. Lustig был расстрелян русскими за пособничество немецким властям.*

## АНТИСЕМИТИЗМ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВРАЧА-ИНФЕКЦИОНИСТА

Антисемитизм – острое, заразное, неизлечимое, часто рецидивирующее заболевание. Носит характер пандемии, иммунитета не оставляет. Существующие прививки мало эффективны. Известен более 2500 лет.

Возбудитель: утверждение о том, что причиной антисемитизма являются евреи, глубоко ошибочно. Мне могут возразить, что если бы не было евреев, то не было бы антисемитизма. Верно, но тогда объектом ненависти, козлом отпущения, стала бы другая народность (или племя). Возбудителем антисемитизма в быту часто является элементарная зависть. Заболевание поражает людей с неустойчивой нервной системой, неудачников, людей, в которых странным образом сочетаются чувство неуверенности в себе с непомерными амбициями. В этих случаях ищут крайнего, виновника своих неудач. Виноватых ищут среди преуспевающих коллег, среди более удачливых знакомых, среди зажиточных людей. Удобнее всего, конечно, искать виновных среди иноверцев, среди других народов. Это, вроде бы, неконкретно и безадресно. В этом случае на «виновника» можно, как говорится, «всех собак вешать». Но почему объектом ненависти и презрения становятся именно евреи? Потому что самое простое – это в очередной раз обвинить евреев в распятии Христа, либо в том, что евреи, якобы, убивают детей-христиан и на их крови замешивают мацу.

Существует несколько путей передачи этой заразы: воздушный (радио, телевидение, интернет), контактный (книги, газеты, журналы), и семейно-наследственный (от родителей к детям, от детей к внукам). Крайним выражением этого заболевания являются погромы, получившие наибольшее распространение в двадцатом веке в странах Европы и, наконец, Холокост. Инкубационный период заболевания вариабелен и во многом зависит от социальной среды, в которую попало инфекционное начало. Так среди малоимущих слоёв населения и среди людей среднего достатка болезнь развивается быстрее, чем в семьях обеспеченных.

Течение заболевания: возникает остро, иногда носит скрытый характер.

В этом случае в постановке диагноза помогает тщательно собранный анамнез: отношение больного к другим народностям и национальным меньшинствам, назойливо-показное выражение (по поводу и без повода) «уважения» и лояльности к евреям, отношение родителей к возможному браку их чада с евреем или еврейкой и т. п. Больного сифилисом называют сифилитиком, больного антисемитизмом – антисемитом.

Различают две формы антисемитизма: государственный и бытовой. Последний встречается чаще государственного и имеет свои географические и демографические особенности. Так в центральных областях бывшего СССР он встречался чаще, чем на окраине державы (там процветал местный национализм), а в городах чаще, чем в сельской местности.

Лечение антисемитизма мало эффективно: оставшиеся в живых носители нацистской идеологии своим «идеалам» не изменили.

Профилактика: разъяснительная работа среди населения может в ряде случаев дать положительные результаты только в том случае, если их обеспечить хорошо оплачиваемой работой и нормальным жильём.

## Марианна Кундель (Лучанская)

### ЗДРАВСТВУЙТЕ, МАСТЕР

*(очерк о еврейском скульпторе Якобе Лучанском)*

К счастью, возвращаются из небытия имена многих Мастеров еврейской культуры и искусства, достойных и ярких, затерянных некогда в эмигрантском горниле.

В разных странах, куда судьба поселила их, оставили они свой след. Их работы украшают многие престижные музеи, находятся в постоянной экспозиции и являются музейной гордостью. К числу таких мастеров можно смело отнести скульптора и графика Якоба Лучанского – незаурядную личность, патриота и продолжателя традиций еврейского искусства.

Почему я решила остановить Ваше внимание, уважаемые читатели, на этом художнике? Признаюсь, он является родным братом моего дедушки, погибшего в Бабьем Яру. Увы, мне не пришлось встретиться с ним при его жизни: разница в возрасте, место проживания, невозможность выезда за границу. Однако, его имя постоянно было на слуху в нашей семье и передавалось из поколения к поколению. Уже живя в Берлине и побывав в Израиле, я многое о нём узнала. Увидела его работы, поклонилась его могиле и получила в подарок монографию, изданную к его 100-летию в Гиват-Бреннер, со множеством репродукций его работ. Издатели монографии – директор Художественного музея в Тель-Авиве г-н Е.Колба и директор Парижского музея современного искусства г-н Д.Госсов. Эти имена говорят о том, что Якоб Лучанский был незаурядным Мастером. Монография издана на иврите с предисловием на английском языке, поэтому не всегда доступна русскоязычному читателю.

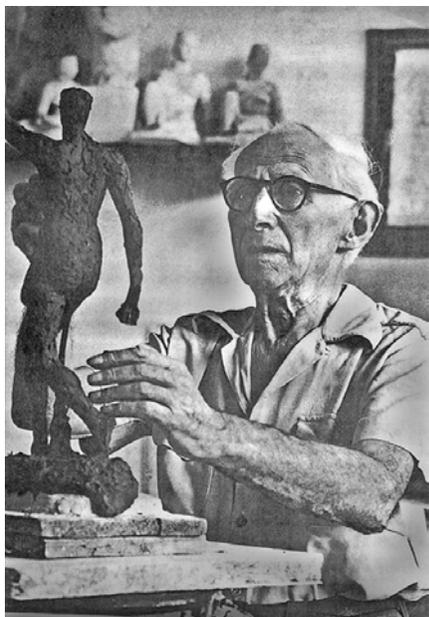
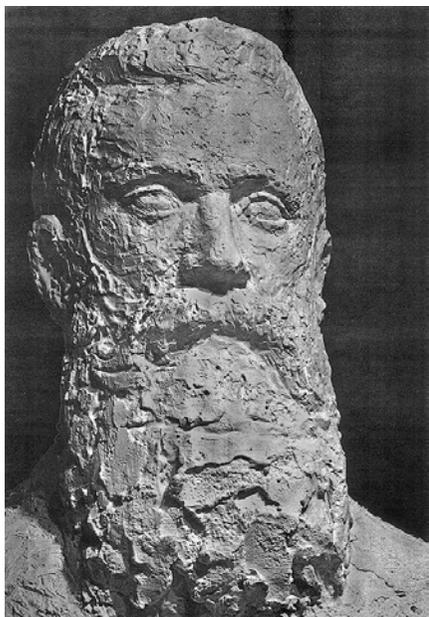


Итак, кто же он, Якоб Лучанский? Вот основные вехи его биографии.

Якоб (собственно, Яков) Лучанский родился в Виннице 08.10.1876 года в семье адвоката с очень скромным достатком. С детства единственной страстью Якова было рисование. Это привело к тому, что в двадцатилетнем возрасте он уехал в Одессу, где поступил в художественное училище. Там он интенсивно стал заниматься скульптурой, постиг основы объёма, композиции, впервые ощутил работу с материалом – глиной, бронзой, деревом и мрамором, обрёл точность руки и глаза.

Затем была воинская повинность – ему пришлось служить в армии. Демобилизовавшись в 1903 году, он приезжает в Париж – центр мировой культуры, в котором широко были открыты двери новым начинаниям, находкам и воплощениям. Во всём мире гремели имена Огюста Родена, Аристиды Майоля, Шарля Деспю, Антуана Бурделя. Их мастерство было примером не только для подражания, но и для глубокого изучения их опыта. Лучанский поступает учиться в Школу изящных искусств. В ней он, под руководством известного педагога Анри Мерсье, совершенствует своё мастерство. посещает бесчисленные выставки, музеи, мастерские художников разных направлений и концепций.

Это также явилось своеобразной школой для него. Позднее все эти Мастера получили название «Парижская школа». Полтора года пролетели в учениях, спорах и поисках собственного стиля. Лучанский вышел на дорогу самостоятельного творчества. Его работы стали появляться на выставках не только Парижа (часто в салоне Турли), но и других городов и стран. Для усовершенствования своего мастерства он часто выезжал за границу. Бывал



в Италии, Голландии, Швейцарии. Некоторое время работал в Нью-Йорке и других городах США, где с успехом проходили его выставки, и некоторые музеи приобретали его работы. Возвратившись в Париж уже известным скульптором, участвовал в коллективных выставках, престижных и широко посещаемых.

Но тут грянула Вторая мировая война, смешавшая планы и забравшая многие жизни. Лучанскому пришлось прятаться у верных друзей на юге страны. Но и там, на небольшой ферме, он продолжал интенсивно работать, воплощая свои замыслы и планы. Лучанский настолько был поглощён работой, что так и не создал свою семью, прожив в одиночестве всю жизнь. Его жизнь – пример служения искусству до последнего вздоха. После войны в Париже была устроена его отчётная выставка, на которой он показал работы, выполненные на ферме. Она имела ошеломляющий успех. На ней присутствовали люди из Палестины, которые рассказали ему о молодом, строящемся государстве – Израиль. Их рассказ был настолько впечатляющим, что Лучанский принимает решение переселиться туда навсегда. В начале 1949 года он осу-

ществил это. Причём поселился не в большом городе, а в киббуце Гиват-Бреннере, куда перевёл все свои сбережения (несколько миллионов долларов) на поддержание государства и киббуца. Здесь сразу же прошли его ретроспективные выставки в Музее Бецалеля, в Иерусалиме, Мишкан Леамуоте, Айн Хароде, Бейтуне, Хайфе и Гиват-Бреннере. Его работы сразу же были приобретены музеями и пользовались постоянным успехом. Один из залов музея в Мишкан Леамуоте полностью посвящён его работам, став своеобразным музеем Якоба Лучанского. Мастер до последних дней жизни не прекращал работу. Умер он в 1978 году там же, в Гиват-Бреннере. Память о нём в Израиле хранят с почтением. Работы Лучанского поражают воображение обилием тем, сюжетов и композиций. Кроме объёмной скульптуры, он сделал целый ряд рельефов с разнообразными планами.

Резцам и молоткам Мастера была подвластна любая форма и материал. Так, начиная с фигуры «Молодой девушки» (1914г.) и заканчивая «Спортсменкой» (1972г.), он ни разу не нарушал свой принцип передачи портретируемого, не отошёл от реального восприятия натуры в классической традиции, привычной обычному зрителю. Поражает разнообразие образов, созданных им за годы творческой жизни. От многофигурных композиций и изображений животных («Лошадь», «Мул», «Раненный лев» и др.) до сложных рельефных композиций. Им выполнен целый ряд портретов выдающихся деятелей. В том числе З.Шазара, Т.Герцля, Б.Кацнельсона и других. Его рельеф «Симфония жизни» – гимн радости и любви, дыхания счастья и солнца. Портреты полны индивидуальности и точности характеристик. Каждый запоминается и заставляет ещё и ещё раз возвращаться к нему.

Думается, что каждый, приезжающий в Израиль, непременно посетит галерею, где выставлены работы Якоба Лучанского.

*Литературная редакция Л. Бердичевского*

## Генриетта Ляховицкая

*Из записей «Мой взгляд за черту неоседлости»*

### ДВА ИЮЛЯ – ОДИН ДЕНЬ

– Чу-чу! Чу-чу! – радуется девочка, крохотная даже для её неполных двух лет. Сквозь решётку моста неотрывно следит она за бегущими внизу электричками. Рядом – её бабушка удивлённо думает: «Неужели даже такое передаётся с генами через поколение?» Она вспоминает, как в свои семь лет, невесомая от голода, неотрывно смотрела сквозь решётку моста Уральской железнодорожной станции на поезда, идущие внизу. Паровозы некоторых были украшены хвоей и самодельными лозунгами: «ДОМОЙ!» – летом 1945 года эвакуированные возвращались в разрушенные войной, но родные места. Вскоре и её семья вернулась в Ленинград.

И вот теперь, летом 2005 года, внучку невозможно увести с моста, расположенного в центре Берлина. В этом городе уже почти десять лет живёт бабушка. Её сын с женой и дочкой прилетели из Америки погостить. К сожалению, лето выдалось дождливое. Но сегодня, *24 июля*, заулыбалось солнце, и сын говорит: «Давайте, раз такая хорошая погода, поедem в Бернау. Твой дед просил поискать там могилу его брата» – напоминает он жене.

Дорога недолгая. Легко нашли памятник советским воинам, павшим в боях за Берлин. Кроме большого обелиска, в зелени парка прячутся маленькие, четырёхгранные. На их гранях – списки имён захороненных. Нескольких минут хватает, чтобы отыскать имя: *Бакунин Л. И.*

В последние дни войны в Бернау был советский военный го-

спиталь. Сюда привезли раненного 2 мая 1945 года в берлинском районе Шпандау лейтенанта артиллерии Льва Ильича Бакунина, двадцати одного года от роду. Не спасли. Ранение, видно, было слишком тяжёлым...

Сын смотрит на часы:

– В Америке уже утро. Позвоню-ка я Марку Ильичу, расскажу, что нашли захоронение.

«Вот как нынче: телефон в кармане. Набрал номер – и готова связь через океан, с другим континентом!» – думает бабушка, вспоминая ужас долгих перерывов между письмами её отца с фронта.

Сын начинает телефонный разговор... Лицо его вдруг становится растерянным, он быстро протягивает трубку жене:

– Поговори с дедом! С ним что-то...

Жена вслушивается пару секунд, понимает, что дед плачет, и тревожно взывает:

– Деда, деда! Что с тобой?!

*Оказывается, что ровно шестьдесят лет назад, день в день, именно 24 июля, брат его скончался в госпитале.*

Бабушке кажется, что они попали в какую-то складку времени, в которой два дня, разделённые шестьдесятю годами, сомкнулись в один...

Сын с женой, оставив дочку с бабушкой в парке, идут искать здание, где в течение почти трёх месяцев страдал и надеялся выжить раненный всего за неделю до Дня Победы Лев Ильич.

«Причём здесь отчество? Ведь ещё почти мальчик... Лёва, Лёвушка... – вспоминает бабушка, как её мама называла папу, тоже Льва. Им несказанно повезло – он вернулся с войны невредимым, – Боже мой, Боже! Что должна была пережить мать этого мальчика, получив извещение о смерти родного своего сыночка!» – сама она всегда помнит, как заледенела и окаменела от невыносимого ужаса, включив телевизор 11 сентября 2001 года и поняв, что рушатся небоскрёбы Манхэттена, где работает её сын.

Она плачет и говорит внучке сквозь слёзы:

– Здесь твой двоюродный прадед похоронен. Родная кровь...

Поднимает камешек, кладёт к обелиску и неумело произносит поминальную молитву о еврейском юноше из России, лежащем в земле

Германии. Молится по-русски, но старательно выговаривает на древнем еврейском языке немногие известные ей обращения к Богу.

## ТРАМВАЙ БУДТО БОЯЛСЯ

Солнечным берлинским летним днём двухтысячного года в трамвае, идущем по Ораниенбургерштрассе, ко мне обратился на странном немецком темноволосый с маленькими усиками мужчина:

– Это христианская церковь или мусульманская? – спросил он, показав вперёд на золотой купол здания «Новой синагоги».

– Вам нравится? – спросила я.

– Да, очень красиво!

– А фашисты хотели такую красоту сжечь, ведь это синагога – еврейский дом.

Трамвай проехал мимо здания. Мы оба смотрели теперь назад, на купол. Мужчина помолчал и вдруг с вызовом сказал:

– А я родился там же, где и Гитлер.

– И вы гордитесь этим?

– Да! – произнёс он и потрогал свои усики.

– А я бы стыдилась.

Трамвай завернул за угол. Говорить больше было ни к чему. Но человек с усиками стал как-то особенно всматриваться в моё лицо, видимо, начиная догадываться, что я еврейка. И тогда я сказала:

– Представьте, что кто-то решил уничтожить ваш народ. Стали убивать стариков, детей, женщин, даже беременных, только за то, что они из этого народа. Убили и ваших родителей, сестёр, братьев, вашу жену и ваших детей, а вы чудом уцелели и годы спустя встретили человека, который гордится быть земляком главаря убийц. Вы бы смогли его понять? – мне было трудно говорить, и не только потому, что приходилось подбирать немецкие слова...

*Трамвай ехал совсем бесшумно, будто боясь чего-то. Или эта тишина лишь почудилась мне...*

*Мы долго смотрели в упор один на другого и не отводили глаз. Наконец, я отвернулась, пора было выходить.*

*Трамвай распахнул двери. Чувствуя взгляд, обернулась. Земляк Гитлера неуверенно помахал мне рукой и, словно удивляясь самому себе, приложил её к сердцу.*

2003 Берлин.

### «ТЫ НЕ ИЗГНАН ИЗ РАЯ, ИЗРАИЛЬ!»

*Такое молодое Государство* отмечает юбилей – всего-то шестьдесят лет. Для Истории – мгновение, для человечества – два поколения, но для многих людей – вся их жизнь.

*Такой древний Народ* вновь обрёл государственность. Быть может, она и не терялась, эта государственность? Просто таилась в священных свитках Торы, в томах Талмуда, в крошечных пергаментных мезуз и в молитвенных коробочках, закрепляемых на головах молящихся евреев, и в самих этих головах.

*Такая вечная Земля* приняла свой Народ, чтобы он напоил и возделал её, вернул ей плодородность, украсил виноградными лозами, укрыл в тени деревьев и порадовал смехом детей.

*Такой древний Язык* обновился, омолодился, вновь стал Государственным Языком, родным для новых поколений евреев.

*Небывалое чудо, что всё это свершилось!*

### ИЗРАИЛЮ

*Государство Израиль!* Ты моложе меня, ты моложе!  
*Я молюсь за тебя:* долгой жизни пусть даст тебе Боже,  
и покоя суровым твоим плоскогорьям и склонам,  
и бежево-жёлтым камням, и недвижимым, солёным,  
поседевшим от древности водам  
под высоким и царственным, всепокрывающим сводом  
пусть подарит Он тоже, наш Боже.  
*Я молюсь за народ:* долгой жизнью в скитаньях изранен,  
бесприютной судьбою своей он не сломлен, не сломлен,  
и бедственно-тяжким тем дням, и от пота солёным,  
поседевшим от ужаса годам  
не поддался и выстоял – на удивленье народам.  
*Ты не изгнан из рая, Израиль!*

*Чудо возрождения Израиля свершилось после Холокоста и вопреки ему.* Евреев больше не должно было быть в Германии. Но они есть! Немногие, уцелев, вернулись. Многие приехали из бывшего Союза. Союз этот был когда-то Россией. Евреи, уехавшие оттуда в Израиль и в Германию, говорят по-русски. Их называют русскими. Так получился *Еврейский треугольник* – «Израиль – Германия – Россия». Он сложнее и непостижимее Бермудского.

В обычном треугольнике, лежащем на спокойной, ровной плоскости, сумма углов равна ста восьмидесяти градусам. Так что слишком острыми сразу все три угла быть не могут. А вот на искривлённой поверхности все три угла одновременно могут стать опасно острыми.

Еврейский треугольник прочерчен на поверхности, страшно искривлённой чудовищными историческими судорогами. Его углы – каждый из них – может быть острее иглы... *Но чудо свершилось и да продлится оно.*

*2008 – год 60-летия Израиля (и 70-летия автора).*

### «ТАК СВЕРШИЛИСЬ СТО ЛЕТ ТЕЛЬ-АВИВА»

*«Нет ни русской, ни еврейской, ни английской, ни турецкой, ни иной какой-либо земли. Вся земля Господня, и Господь – единственный коренной житель на земле. И подлинное право на тот или иной кусок Господней земли дают не исторические завоевания, не исторические перемещения, не факт многовекового владения, а то, сделала ли нация кусок Господней земли плодотворным и порядки на ней справедливыми или... гноит нация пространства Господни, попавшие к ней в руки. Жестоко спросит Господь с такой нации за Имущество Своё. Но воздаст Господь нации, хранящей Имущество Господне»*

**Из романа «Псалом» Фридриха Горенштейна**

Весной, а точнее, в воскресенье 11 апреля 1909 года на пустынном восточном берегу Средиземного моря проводилась жеребьёвка ракушками – какой кому достанется участок земли.

Сто пятьдесят евреев на своих запряжённых лошадьми повозках, то и дело увязающих в песке, собрались в трёх километрах от древнего Яффо. Ранним утром Акива Арие Вайсс собрал на

морском берегу по шестьдесят белых и коричневых раковин. Он надписал чёрными чернилами на белых раковинах имена претендентов, а на коричневых – номера земельных участков. Затем начертил на песке план шестидесяти равных по величине участков, снабдив их номерами.

Мальчик и девочка вынимали из корзины одновременно одну белую и одну коричневую ракушку. Так, по случайному выбору, определялась принадлежность каждого из участков. Не мне судить, скрывался ли за выбором только случай, или, быть может, подлинный Владелец земли, но получилось всё удачно – начал строиться и быстро расти овеваемый свежим морским воздухом город Тель-Авив. Так начинался для этого города *век его молодости* в новые времена:

Где века проходили сонливо,  
древний холм тосковал сиротливо,  
и волна набегала лениво,  
на песке оставляя извивы –  
*пусто было там без Тель-Авива.*

Там однажды, пустыне на диво,  
люди собрался гурьбой говорливой,  
чтобы жребий решил справедливый,  
как построить им город счастливый –  
*пусто было им без Тель-Авива.*

Это так же, как в любимом мною празднике Пурим – вроде бы, не упоминается Бог в библейской книге «Эстер» и люди, бросая жребий – «пур», сами определяли ход событий, а вот всё так искусно сложилось в те древние времена в пользу евреев, что они до сих пор каждый год всюду радуются и веселятся. К слову сказать, уже в 1913 году по городу прошло первое костюмированное шествие жителей, отмечавших Пурим. Было где развернуться – это вам не узкие, грязные, душные переулки старого Яффо, откуда вырвались зачинатели Тель-Авива.

Нынче и переулки Яффо преобразились. Если смотреть со стороны гавани, то на заднем плане, на холме можно увидеть бывший старый город. Поднимаясь к нему, попадаешь в обновлён-

ный квартал, где каждое строение, сохраняя старинные черты, любовно отделано и превращено в удобные дома с мастерскими художников, с галереями. Времени у туристов мало, но хотя бы в один только дом войти, например в галерею Франка Майслера. Я вошла, а вот уходить не хотела. Населяют её такие искусные работы из металла, что каждую можно по часу рассматривать. Я буквально «приросла» к «Скрипачу», пока не увидела «Контрабас». Гриф его слился с головой и плечом музыканта, кисть руки которого сжимает смычок. Между плечом и кистью нет ничего, кроме воздуха, а кажется, что это – единая живая рука, с виртуозной лёгкостью исполняющая клезмерскую мелодию...

Кстати, о мелодиях. В молодом Тель-Авиве общественная и культурная жизнь концентрировалась вокруг гимназии «Герцлия». В ней преподавал музыку уроженец Бесарабии Ханина Бен Ицхак Карчевский. Певец, музыкант, дирижёр, умер, не дожив до сорока лет, но гимназия издала сборник всех его песен «Мелодии Ханины». До сих пор поют в Израиле его песни, хранящие российско-еврейский стиль...

Израиль и Россия – две стороны исторически особого «еврейского треугольника». Германия – третья его сторона. Многие накрепко спаяно в этом треугольнике. Вот и в Тель-Авиве архитекторы-иммигранты из Германии, обученные там в Академии искусств и дизайна «Баухаус», возводили строения в своём модернистском стиле. В окраске домов преобладал белый цвет, и эту застройку стали называть «Белым Городом».

«Тель-Авив» в переводе – «Холм весны». Действительно, по особому выглядит город весной, когда радуют глаз экзотические цветы, а голубизна неба сливается с бирюзой Средиземного моря. Золотой его берег – километры песчаных пляжей...

Город рос, объединился с Яффо, включил в себя Холон, Бат-Ям, Рамат-Ган, Бней-Брак, Гиваттаим... Это – «Город без перерыва», и жизнь в нём бурлит беспрерывно.

Так, рождённый мечтой горделивой,  
дом за домом, трудом терпеливым  
воздвигался там город красивый –  
чистый, белый и «без перерыва» –  
*пусто было бы без Тель-Авива.*

Дети в нём веселы и шумливы,  
и цветы по весне прихотливы,  
и заботами рук хлопотливых  
плодоносны в предместьях оливы –  
*так свершились сто лет Тель-Авива.*

Довелось мне, пусть коротко, своими глазами увидеть «Холм весны». И думалось, что на этом, уже сделанном плодотворным, «куске земли» не только хранят, но и приумножают «Имущество Господне». И воздаёт за это Господь живущей здесь древней нации, возрождая её молодость. Недаром средний возраст трёхсот шестидесятитысячного населения города – тридцать четыре года, и каждый день рождаются двадцать новых «тель-авивян». *Да не будет судьба гневлива к мирным жителям Тель-Авива!*

«ТАМ, ГДЕ СЖИГАЮТ КНИГИ...»

**Несогласие с Иосифом Бродским**

«...Ни один уголовный кодекс не предусматривает наказаний за преступление против литературы. И среди преступлений этих наиболее тяжким является не преследование авторов, не цензурные ограничения и т.п., *не предание книг костру*. Существует преступление более тяжкое – пренебрежение книгами, их нечтение. За преступление это человек расплачивается всей своей жизнью; если же преступление это совершает нация – она платит за это своей историей».

Это отрывок из Нобелевской лекции поэта Иосифа Бродского. Так говорил он в 1987 году. Слова «*не предание книг костру*» выделены мною. Я не согласна с такой мыслью. Ведь книги для костров отбирают, как правило, именно те, кто их читали. И ритуал книгосожжения организуют, всё снова и снова, вполне грамотные читатели.

Вот и 24 июня 2006 года в восточногерманской деревне Претцин под Магдебургом жгли книгу. Сначала, для разогрева, ею как мячом поиграли в футбол. Сотни жителей и гостей праздновали день летнего солнцестояния. Весёлый праздник был, с танцами и

костром. В него-то и полетел «Дневник Анны Франк». Не очень юные – под тридцать лет – неонацисты из организации «Heimat Bund Ostelbien» знали, какую книгу сжигают. Кстати, в этой организации и бургомистр состоял – тоже, надо полагать, читатель. Он спокойно наблюдал, как горели страницы дневника еврейской девочки, погубленной нацистами. И все жители Претцина – на стороне своего бургомистра. Они же его выбрали. Так что в отставку он не собирается...

В центре Берлина 10 мая 1933 года перед зданием библиотеки одного из крупнейших университетов Европы *студенты-нацисты жгли книги*. Естественно, что произведения еврея Генриха Гейне не избежали этого костра. *Сколько миллионов людей сожгли в конце концов нацисты? Сколько загубили они юных и детей? А среди них несомненно были будущие великие поэты и писатели, которых литература лишилась безвозвратно...*

Поэт Генрих Гейне в 1820 году иначе, чем поэт Иосиф Бродский, оценивал преступность предания книг костру и страшные последствия такого преступления. Вот, что он сказал:

*«Там, где сжигают книги, в конце концов сжигают также людей».*

## Мина Полянская

ЕФИМ ЭТКИНД, А ТАКЖЕ БРОДСКИЙ,  
СОЛЖЕНИЦЫН, ГОРЕНШТЕЙН

*И славы блеск, и мрак изгнанья,  
И светлых мыслей красота,  
И мценья – бурная мечта  
Ожесточённого страданья.  
Александр Пушкин*

О стихах Пушкина, приведённых мною в качестве эпиграфа, Ефим Григорьевич Эткинд говорил, что именно они – эпиграф ко всей его жизни. Он ещё уточнил: «Всё это – в бесконечно ослабленном виде – выпало и на мою долю».

Мне довелось присутствовать на защите докторской диссертации Ефима Григорьевича в колонном зале пединститута имени Герцена (ныне университета) в октябре 1965 года, и я считаю эту блистательную защиту одним из важнейших событий моей жизни. «Несмотря на довольно специальный характер темы, – вспоминал Эткинд, – «Стихотворный перевод как проблема сопоставительной стилистики» – аудитория реагировала с энтузиазмом, и защита прошла, можно сказать, эффектно».

Ещё бы! Участниками научной баталии были прославленные академики В. М. Жирмунский и М. П. Алексеев, а также её главный герой – Эткинд. Не забуду восторга переполненного зала. Как это было красиво! И могу лишь воскликнуть вслед за Салтыковым-Щедриным, вспоминая «оттепель» начала царствования Александра II: «О, какое это было время! О, какое это было прекрасное время!» И не предполагали мы, как и Михаил Евграфович, что всё это может так незаметно исчезнуть, тогда как

следовало предполагать, поскольку, как предупреждал Герцен, когда в очередной раз ломают стены, отбивают замки и отпирают ворота, то в первую очередь вбегают не те, кого ждали. Мы – не предполагали. А Горенштейн, малоизвестный автор, сидя в «чужом углу», малопонятным почерком писал свой роман «Место» с подзаголовком «Политический роман» о хрущёвской оттепели, обернувшейся очередным фарсом.

Уже в те времена, когда я училась в «Герцена», имя Эткинда, автора книг «Поэзия и перевод», «Разговор в стихах», основателя школы перевода, прославившего институт, было окружено легендами. Наш преподаватель во время войны служил военным переводчиком, но среди студентов существовал миф о том, что он был разведчиком и в форме немецкого офицера запросто являлся к немцам – именно так мы романтизировали его образ. Эткинд вполне соответствовал чеховской эстетике о человеке, в котором всё должно быть прекрасно, но в моих глазах наш преподаватель являл собой ещё и сказочного, бесстрашного рыцаря. Однако же, если оставить его даже и военным переводчиком, что, кстати, соответствовало истине, то разве не восхитительно, что он, этот изысканно красивый, элегантный человек, во время войны переводивший тексты (устные и письменные) о планах противника, его расположении, расположении танков и пр. в этом роде, после войны стал переводить стихи, а потом ещё основал школу перевода, утверждающую максимальное уважение к оригиналу?

Ярким образцом школы перевода Эткинда является его книга «Маленькая свобода. 25 немецких поэтов за пять веков» с параллельным переводом, составленная в обратном хронологическом порядке, изданная в 1999 году. Дата выхода книги – год смерти Эткинда – свидетельствует о том, что он навсегда остался верен созданной им школе. Цитирую Игоря Полянского («Маленькая свобода», Зеркало Загадок, 8, 1999): «Идея обратного построения антологии возникла у Эткинда более тридцати лет назад. По признанию автора, она восходит ко Льву Толстому, преподававшему историю «от следствий к причинам» (...). При всей точности и адекватности перевода, антология Эткинда по-немецки не

случайно названа не «Übersetzung», но «Nachdichtung», то есть дословно «стихотворчество вслед» (...). По-русски «обратная антология», а по-немецки – «rückläufige», то есть «бегущая вспять». Привожу эпиграф к сборнику:

У Лессинга:

*Wer wird nicht einen Klopstok loben?  
Doch wird ihn jeder lesen? – Nein.  
Wir wollen weniger erhoben,  
Und fleißiger gelesen sein.*

У Эткинда:

*Вы почитаете Клопштока?  
Но кто читал его хоть раз?  
Не почитайте нас высоко,  
А лучше – почитайте нас!*

Я ещё 1964 году умудрилась, находясь в очереди, протянувшейся вдоль Фонтанки чуть ли не до Невского проспекта, купить билет на спектакль в БДТ имени Горького (теперь имени Товстоногова) «Карьера Артуро Уи» по пьесе Брехта в переводе Эткинда.

Помню, что это было зимой, кругом лежал снег и, когда я, грустная, потерявшая надежду попасть на спектакль, стояла у площади Ломоносова и до здания театра оставалось ещё более двухсот метров, ко мне подошла женщина в бежевом пальто (запомнилась деталь!) и протянула мне билет. Бывают же чудеса: именно меня женщина выбрала в этом нескончаемом потоке! Спектакль «Карьера Артуро Уи», сыгранный более трёхсот раз – незабываемое событие театральной жизни Ленинграда 60-х годов и, разумеется, моей жизни тоже.

Зал неизменно восторженно реагировал на постановку, на сцену с бурными овациями вызывались не только режиссер и актеры – Артуро Уи играл грандиозный Евгений Лебедев – но также и переводчик пьесы Ефим Эткинд. Эткинд рассказывал, что ему было интересно переводить пьесу, в которой оказалось множество

двусмысленных пассажей. На одном из первых спектаклей присутствовал (это было уже после сенсационной публикации «Одного дня Ивана Денисовича») Александр Исаевич Солженицын. Он сидел во втором ряду, недалеко от мэра Ленинграда Василия Толстикова, которого не знал в лицо, и так громогласно выражал свой восторг, что Товстоногов и Эткинд, полные дурных предчувствий, уже приготовились к тому, что Толстиков запретит спектакль. Однако – обошлось. Грозное будущее на самом деле уже водворилось, «наступили суровые дни» (правда, не те, о которых писал Плещеев: Париж беспокойный не волновался, а даже совсем наоборот, то были суровые дни «Современной идиллии» Салтыкова-Щедрина) но, как это иногда бывает, солнце иногда с опаской, но всё же выглядывало. Мне кажется, что коварство оттепели и состоит в том, что *незаметно* она отступает.

В 60-е годы многие из нас очарованы были лекциями Берковского и Эткинда. Весьма показательна описанная Татьяной Черновой сцена (в статье о моей книге «Музы города» «Голос Музы, еле слышный» в книге «Адреса педагогического опыта», СПб, 2002), характеризующая нашу «сказочную» студенческую жизнь. Так, однажды после лекции Берковского о новелле «Золотой горшок» мы с Черновой танцевали в аудитории и, как будто играя в новую игру, повторяли таинственные слова из ещё не прочитанной гофмановской новеллы: «Серпентина, Серпентина!» Влюбленная в Диккенса, Гюго, Скотта и во всех остальных старых романистов, я всё же втянулась в водоворот событий и восторгов хрущёвской перестройки. Разумеется, Солженицына и Бродского читала и восхищалась. И даже побывала у гроба Ахматовой 10 марта 1966 года. Помню, что в первых рядах была моя однокурсница Таня Латаева, трогательная «литературная» девочка, она держала меня за руку, объясняя, как это важно и судьбоносно. Когда же Владимир Маранцман повёз нас, студентов, в Ясную Поляну к могиле Толстого, то уже я вынуждена была держать Таню Латаеву за руку: с ней случилось что-то вроде шока – могила Толстого без памятника со свежим холмиком, поросшим молодой травой, производила впечатление недавнего захоронения. Вид скромного могильного холмика волшебным образом «придвинул» к нам Толстого и казался

предвестником чего-то неотвратимого. Эти знаки нашей молодости западали в душу, оставляли след навсегда, но только вряд ли подготавливали нас к полной катаклизмов жизни в будущем.

Вспоминаю себя, первокурсницу, на Прачечном мосту в той самой толпе сострадающих Иосифу Бродскому и ожидающих решение суда так, как будто решалась судьба очень близкого мне человека. Слушание дела о «тунеядстве» Бродского состоялось в середине марта 1964 года в большом зале Клуба строителей на Фонтанке, рядом с домом бывшего Третьего отделения шефа жандармов А.Х. Бенкендорфа. Ефим Григорьевич, как известно, на памятное моим современникам судилище был вызван в качестве свидетеля. На суде присутствовала публика, не имеющая никакого отношения к литературе, Бродского не читавшая. Рабочие, служащие и даже дружинники выражали Народное Недовольство. У Михаила Голодного(1932): «Суд идёт революционный, Правый суд. Конвоиры песню «Яблочко» поют».

*Судья: Дайте ваш паспорт, поскольку ваша фамилия как-то неясно произносится. Эткинд... Ефим Гиршевич... Мы вас слушаем.*

Так застенографировано Ф. Вигдоровой. Впоследствии выяснилось, что судья прочитала отчество Эткинда не по паспорту (там было Григорьевич), а по другому источнику – из особого отдела филиала КГБ. Воистину, вслед за Пушкиным можно сказать: «и, в имени твоём звук чуждый невзлюбя, своими криками преследуя тебя...»

Эткинд, тем не менее, вполне смог справиться с первыми сценами унижения, поскольку главной задачей было – избавить Бродского от судилища. Очень точно заметил о нём Владимир Маранцман: «Кидая в Эткинда камни, ораторы порой опускались до уровня 1937 года. А сам виновник охального торжества не только не каялся, но с вольтеровским остроумием и здравым смыслом русских сатириков сохранял достоинство и недоумевал: «По какому случаю тут?»»

Эткинд, как бы не замечая невежества толпы, пытался объяснить суду, что Бродский не тунеядец, трудится на литературной ниве, зарабатывая переводами.

«Перевод стихов, – убеждал он суд – труднейшая работа, требующая усердия, знаний, таланта».

Однако приговор был приготовлен заранее: Бродский был сослан в отдалённые места сроком на пять лет на принудительные работы. Сбылось предчувствие Ахматовой о судьбе молодых поэтов шестидесятых годов:

О своём я уже не заплачу,  
Но не видеть бы мне на земле  
Золотое клеймо неудачи  
На ещё безмятежном челе.

«Золотое клеймо неудачи» возникло на челе Бродского. Позднее признание, Нобелевская премия не вернули подорванного здоровья, он умер в Нью-Йорке 27 января 1996 года в возрасте пятидесяти шести лет и похоронен в Венеции на острове Сан-Микеле.

Такое же «золотое клеймо» обозначилось на челе нашего профессора, спасавшего двух будущих Нобелевских лауреатов – Бродского и Солженицына. В 1974 году в Педагогическом институте им. Герцена *при тайном единогласном голосовании коллег* Эткинд был лишён всех званий, в том числе и учёного звания профессора. Затем он был изгнан из Союза писателей, где состоял с 1956 года, лишён гражданства и выдворен из страны по сфабрикованному КГБ «делу». Рукописи Солженицына, которые Эткинд хранил, значились в «деле», как главные пункты обвинения. В «Записках незаговорщика» издевательства над собой Эткинд назвал «Гражданской казнью». Мемуары впервые были опубликованы в Лондоне в 1977 году и мгновенно стали бестселлером. «Записки незаговорщика» переиздавали, переводили на другие языки. В Германии книга вышла на немецком языке с названием «Бескровная казнь» и имела наибольший успех. Сейчас, когда я пишу этот очерк, передо мной на столе лежит книга, изданная в России спустя два года после смерти Эткинда, в 2001 году.

Перечень заграничных почётных званий Ефима Григорьевича свидетельствует о том, как оценены были его заслуги в просвещённом мире: профессор Десятого парижского университета,

член-корреспондент трёх немецких академий, кавалер Золотой пальмовой ветви Франции за заслуги в области французского просвещения, доктор *honoris causa* Женевского университета. Количество научных трудов – более 600. За границей были опубликованы книги Эткинда: «Записки незаговорщика», «Форма как содержание: Избранные статьи», «Материя стиха», «Стихи и люди» и другие.

Однако мировое признание не вернуло ему ни покоя, ни удовлетворения, как, подозреваю, не вернули страдальцу Иову покоя и удовлетворения новое богатство, взамен старого, и другое потомство, взамен бывшего. «Записки незаговорщика», написанные с пронзительным, невероятным для публицистики лиризмом, свидетельствуют о том, что рана его так никогда и не зажила. В 1989 году Эткинд вернулся в город, «знакомый до слёз». Он был приглашён в наш раскаявшийся «Герцена» и, вероятно, для завершения драматического сюжета, согласился явиться на встречу с бывшими коллегами, причём, в тот самый четырнадцатый корпус на Мойке 48, где пятнадцать лет тому назад преподавал. Самая большая аудитория не вместила всех желающих. Остальные, как говорили, «весь Ленинград», стояли в коридоре. Так произошло покаяние и прощение.

На этой встрече Эткинд рассказал о Горенштейне, книги которого во Франции имели шумный успех, назвав его крупнейшим русским писателем двадцатого века, «вторым Достоевским». Таким образом, в России Эткинд возвестил о Горенштейне за три года до выхода в Москве в издательстве «Слово» трехтомника писателя.

Итак, в моём тексте выдвигается на сцену ещё одна очень крупная фигура в истории русской литературы (правда, без Нобелевской премии), спасаемая нашим преподавателем. Эткинда удивило, что произведения такого мастера, как Горенштейн, не были известны в мире литературно-художественного андеграунда 70-х годов и не появились при советской власти *даже в самиздате* – об этом он и написал в своей статье «Рождение мастера» (Эткинд Е. Рождение мастера: О прозе Фридриха Горенштейна. Время и мы (Нью-Йорк), 1979).

Эткинд неоднократно пытался исправить ошибку литератур-

ного истеблишмента, совершённую с Горенштейном, просчёт (оплошность?), из-за которого в течение двадцати с лишним лет его романы не читал не только широкий, но и «узкий» читатель. Осенью 1980 года в Вене Ефим Григорьевич случайно оказался почти соседом Горенштейна – он жил в одной из квартир Венского университета, куда был приглашён читать лекции. Горенштейн в качестве «транзитного» эмигранта жил на Кохгассе 36, апартамент 23, второй этаж (из Вены писатель через некоторое время сумел переехать в Берлин). При первой встрече известный учёный, литератор и поэт-переводчик показался Горенштейну совсем молодым (Эткинду было 62 года). «Содержания беседы не помню, – писал Горенштейн, – но если говорить о моей биографической жизни, то эта исходная точка нашего с Ефимом Эткиндом сюжета была безусловно важна для моего нового биографического времени» (Беседы с Ефимом Эткиндом. Зеркало Загадок, 2000, 9.) Венская встреча и в самом деле оказалась исходной точкой для Горенштейна, поскольку Эткинд старался изо всех сил помочь ему пробиться сквозь дебри литературных препон.

Недоверие к «перемещённому лицу» – обычное явление, в том числе и в Германии. Касается это и издательств. С одной стороны, поэту, художнику, как бы даже положено романтически странствовать, скитаться по свету. Но с другой стороны... С другой стороны, конечно, настораживает, если странствие чересчур затянулось. Тот факт, что в Британскую энциклопедию в своё время не был внесён парижский эмигрант Иван Бунин, Нобелевский лауреат, тогда как Константин Федин, писатель, живущий дома, у себя в России, был туда занесён, весьма показателен. Вспомним двадцатые годы, когда Берлин стал местом пребывания небывалого количества талантливых русских литераторов, причем, для некоторых из них немецкий был вторым родным языком – для Цветаевой, например. В настоящее время германская литературная наука с благоговением изучает те самые двадцатые годы, мимо которых когда-то прошла, не заметив, например, Набокова, ощущавшего себя в Берлине «бесплотным пленником», притом, что два его произведения – романы «Машенька» и «Король, дама, валет» были переведены на немецкий язык.

Что же касается Цветаевой, с её особым личностным отношением к Германии, называвшей её «Vaterland» (Но как же я тебя отрину, Моя германская звезда), то она и вовсе не была ею замечена. В Берлине Цветаевой был создан эпистолярный рассказ «Флорентийские ночи». Находясь в Париже, Цветаева перевела на французский язык этот рассказ, предлагала его многим французским издательствам, однако издатели не желали даже с ней разговаривать. И лишь в 1981 году итальянская исследовательница и переводчица Серена Витале опубликовала его во Франции и Италии.

Спустя полвека ситуация писателя-эмигранта мало изменилась. Недоверие к пришельцу осталось незыблемым. За год до приезда, в 1979 году, роман Горенштейна «Искушение» был переведён на немецкий язык и опубликован в Берлине весьма солидным издательством «Ляхтенгарт». Однако талантливого романа оказалось недостаточно. Необходимо было авторитетное слово. А где же взять такого, безусловно авторитетного человека, который мог бы *поручиться за талант*, своё веское слово сказать, к которому бы прислушались? Им оказался всё тот же рыцарь литературы, во имя неё неоднократно пострадавший.

Рекомендация Эткинды, наконец, возымела действие. В девяностых годах издательством «Ауфбау» было опубликовано семь книг Горенштейна, издательством «Ровольт» – три. Среди них произведения, написанные уже в Берлине на Зэкзишештрассе: повести «Улица Красных Зорь», «Последнее лето на Волге», пьеса «Детубийца», несколько рассказов, а роман «Летит себе аэроплан» издавался на немецком языке три раза. О Горенштейне тогда много писали во влиятельных немецких газетах и журналах, попеременно называя его то «вторым Достоевским», то «вторым Толстым».

На смерть Эткинды Горенштейн откликнулся эссе «Беседы с Ефимом Эткиндом», которое ни в коем случае не желал называть «некрологом».

«И вспоминаю последнюю встречу у меня на квартире в Берлине осенью 1998 года. Я по просьбе Ефима читал финальную сцену «В книгописной монастырской мастерской» из моего многолетнего труда «Драматические хроники времён Ивана Грозного». Ефим остался очень доволен финальной сценой. Я помню

его слова: «Хорошо, очень хорошо». Был доволен и я. Не то, что я был ориентирован на чужое мнение. В целом я хвалю и ругаю себя сам. Но в данном случае был многолетний, давящий на меня труд, и был Ефим Эткинд, вкусы которого я, несмотря на те или иные разногласия, высоко ценил. Потому так обрадовала меня его похвала, и даже подумалось: теперь и Ефим взял на себя тяжесть многолетнего моего труда, облегчая мне ношу. Эти беседы нужны мне, ибо уход Ефима Эткинда из наших краев – большая для меня личная потеря»<sup>1</sup>.

Летом 2002 года я посетила мою бывшую преподавательницу литературоведения Дину Клеметьевну Мотольскую, впервые общившую меня когда-то на профессиональном уровне к литературе – я уже не говорю о ямбе и хорее, которые научила друг от друга отличать. Сидели мы, единомышленники, за столом – Дина Клеметьевна, слепая и почти глухая, моя бывшая однокурсница Рита Заборщикова и я, держась за руки, и говорили только о возвышенном и прекрасном, – о литературе, о высоком её предназначении, и Дина Клементьевна просила меня рассказать о Горенштейне, которого – она это сама слышала двенадцать лет назад – Эткинд назвал «вторым Достоевским». Зная о дружбе моей семьи с Горенштейном, она просила, чтобы я рассказывала о нём – образ этого трагического писателя был для неё значим не менее, чем звёзды на небесах. Она просила писать о нём. Дине Клементьевне принадлежит выражение, ставшее обиходным в нашем кругу: «Лучше текст написанный, чем ненаписанный» (я последовала совету Мотольской и впоследствии написала книгу о Горенштейне, уделив в ней значительное внимание Ефиму Эткинду).

Выступление Эткинда запомнилось и другому моему бывшему преподавателю – профессору Владимиру Георгиевичу Маранцману, члену корреспонденту РАН. Маранцман происходил из итальянских евреев, спасшихся некогда от Гарибальди в России. В семье сохранился итальянский язык, и Владимир Георгиевич знал его в совершенстве. Он ещё в 60-х годах посещал родственников в Италии, привез много книг по искусству, а затем проводил с нами, студентами, семинары по истории культуры Италии. В конце 70-х, когда я уже давно была погружена в семейные заботы, шла я

однажды по Казанской улице, и вдруг между колонн Казанского собора увидела Маранцмана в чёрном длинном плаще и чайльд-гарольдовской шляпе. Весь вид его, подчёркнуто поэтический и одновременно благородный, резко выделял его в пространстве соборной площади у Невского проспекта. Я невольно залюбовалась этим образом законченного романтика среди будничной дневной суеты. И, дабы не нарушить эту красоту и гармонию, это «итальянское» видение у собора, напоминающего римский собор Святого Петра, я спряталась за одной из многочисленных его колонн и долго, с нежностью смотрела вслед удаляющемуся поэту.

В 1999 году Маранцман опубликовал свой перевод «Ада» «Божественной комедии» Данте<sup>2</sup>. Это был, кроме всего прочего и поступок, поскольку после блистательного перевода М. Лозинского, переводить «Комедию» не осмеливался никто.

Перевод Михаила Леонидовича Лозинского был полностью завершён к концу войны и был первым переводом, удостоенным Сталинской премии, а нынче «Комедию» в его переводе издают, забыв написать имя переводчика – у меня именно такой экземпляр, изданный в 1992 году в Москве неким «Интерпаксом». С трудом нашла фамилию «Лозинский» в качестве подписи мелкими буквами к комментариям – искала мучительно долго (а остальное, вероятно, флорентиец Данте на русском языке написал). Для меня это открытие ужасно! И потомки вынуждены молчать, поскольку наследственные сроки кончились.

Прекрасно иллюстрированная «Комедия» в переводе Маранцмана хранится у меня с его дарственной надписью: «Мине с верой, что даже дороги ада ведут к звёздам. 28 / VI, 2000».

Эткинд незадолго до смерти прочитал его «Ад» и остался доволен как переводом, так и уникальным комментарием. Маранцман считал себя учеником и последователем Эткинда – сторонником следования оригиналу – ритму, мелодии и сохранению размера стихов.

Воспользуюсь случаем, чтобы процитировать отрывок из некролога Эткинду внезапно ушедшего из жизни Владимира Георгиевича Маранцмана. Его суждения о бывшем коллеге и друге характеризуют и Маранцмана как уникальную личность:

*«В Ефиме Григорьевиче жила и эта нежность доброты, и эта дерзость вызова. И поэтому его до самозабвения обожали женщины, что с ними нынче редко случается. Море добрых дел, которыми одаривал Е. Г. Эткинд людей достойных и незначительных, неизмеримо. И это шло не от самолюбивой снисходительности всемогущего мэтра, а от того, что он умел бескорыстно, по-детски радоваться удаче других. Он мог, получив новый перевод, сказать: «Вы – гений». Он мог провожать человека долгим, внимательным, запоминающим взглядом. (...). Смелость его иронии всегда дразнила важных персон. В нём была бесстрашная отвага гасконцев и печальная мудрость библейских пророков, достоинство русского интеллигента и отточенное изящество дипломата».*

Из трех спасаемых Эткиндом крупнейших русских писателей второй половины двадцатого века (если не бояться преувеличений, то можно сказать: столпов русской литературы) – Бродского, Солженицына, Горенштейна – благодарным за спасение оказался только Горенштейн, тот самый Фридрих, на которого в русской литературе установился даже и дискурс, подогреваемый почему-то и сейчас некоторыми средствами массовой информации: «трудный, неуживчивый человек».

Итак, политический скандал вынес Иосифа Бродского на суд высших «литературных инстанций». В 1972 году Бродский эмигрировал в США, и Нобелевскую премию он получал уже как гражданин Соединенных Штатов, однако впоследствии ему невыносима была мысль, что гонения на родине способствовали получению Нобелевской премии. После выхода в 1988 году книги Ефима Эткинда «Процесс Иосифа Бродского» Бродский отвернулся от своего бывшего учителя и спасителя.

После публикации в «Новом мире» «Одного дня Ивана Денисовича» советская печать в застойные годы не издавала Солженицына. Уместно в контексте данного очерка вспомнить, что литературный редактор судьбоносного тогда журнала Анна Берзер «Ивана Денисовича» сумела «протолкнуть» (а как потом стало известно, повесть Солженицына была опубликована ещё и по личному распоряжению Хрущёва), а спустя три года «Зиму 53-го года» –

«протолкнуть» не смогла. Горенштейн, работавший после Горного института на шахте, в своей повести со всей очевидностью полемизировал с солженицынской повестью: труд советского человека иной раз нисколько не лучше подневольного каторжного труда в сталинских лагерях. Положение, в котором находился главный герой повести Ким, сын «врага народа», ничуть не лучше положения Ивана Денисовича. Более того, в то время, как у Ивана Денисовича остается хотя бы надежда выжить и освободиться, «свободный» Ким знает, что надежды нет – «освободиться» можно либо в лагерь, напрямик к Ивану Денисовичу, либо в смерть, что, собственно, и произошло, когда исчезла последняя опора жизни – любовь к ней. Во вступительной статье Инны Борисовой к книге Анны Берзер «Сталин и литература»,<sup>3</sup> рассказывается о скандале, возникшем в «Новом мире» в связи с тем, что Анна Самойлова приложила максимум усилий для того, чтобы опубликовать «Зиму 53-его года». Произведения Солженицына публиковали за границей, и это не нравилось советскому руководству. В 1969 году Солженицын был исключён из Союза писателей, а спустя год «Архипелаг Гулаг» был удостоен Нобелевской премии.

Солженицына и Эткинда шельмовали параллельно и почти одновременно отправили за рубеж в 1974 году. Солженицына в феврале доставили самолетом в ФРГ, Эткинда в апреле *буквально выгнали* по израильской визе, что заведомо должно было его лишить диссидентских привилегий. Солженицын вспоминал: «Сам Е. Г. Эткинд был в дружбе со мной неотрицаемой, к моменту высылки уже полных 10 лет... и изо всех действующих лиц... только он ещё получил открытое сотрясение, публичное бичевание и вытолкнут за границу». У Эткинда были приглашения нескольких зарубежных университетов. Он пытался выехать на два года, с советским паспортом, как М. Растропович, В. Максимов, В. Некрасов, многие другие. Но ему ответили, что для него возможен только один выезд – через Израиль, то есть с потерей гражданства. Горенштейн, выехавший, так же, как и Эткинд, без заграничного паспорта писал: «Таким образом, мне пришлось ехать *рядовым эмигрантом-евреем*» (курсив мой, М. П.).

Сам Эткинд не любил рассказывать о своей роли в жизни и твор-

честве Солженицына. Сейчас впервые опубликована «Переписка»<sup>4</sup> Эткинда тиражом в 700 экземпляров, и составители П. Вахтина и И. Комарова прислали мне в Берлин один экземпляр, за что я им очень благодарна. Я обнаружила в книге письмо Эткинда Лидии Корнеевне Чуковской от 10-11 ноября 1977 г., где Ефим Григорьевич отвечает на упрёк Лидии Корнеевны по поводу его молчания о Солженицыне и объясняет принципиальную позицию не афишировать свою роль в творческой судьбе нобелевского лауреата: «Заметьте, я ничего не отрицаю. Я не говорю: у меня *не* хранился А(рхипелаг) Г(улаг), я *не* выполнял поручений Q<sup>5</sup>, я *не* помогал А. С. встречаться с нужными ему людьми, и т. д.. Я говорю иначе: они этого про меня не знают и знать не могут. Обысков не было. Писем не отнимали. На допросы не вызывали. Очных ставок не было <...> Это значит: перлюстрировали переписку. Установили микрофоны подслушивания. Подсылали стукачей. То есть вели себя преступно. Делали то, что запрещено всем тайным полициям во всех демократических странах <...> Знаете, и мне было бы *приятнее* исполнять роль активного действующего, а не пассивной жертвы. И мне было бы о чём рассказать – Вы ведь знаете. Помните, как я перевёз за границу письмо к съезду?»<sup>6</sup>. Как я (и не я один) способствовал Нобелевской премии? Как мы держали в земле все архивы Q <...> Делать себе капитал ссылками на эту книгу<sup>7</sup> и на мои отношения с её автором я считаю безнравственным».

В октябре 1996 года мы вчетвером (Фридрих Горенштейн и я с мужем Борисом Антиповым и сыном Игорем Полянским, тогда главным редактором «Зеркала Загадок») побывали в гостях в Потсдаме у Эткинда и его жены Эльки Либс-Эткинд (германиста, профессора Потсдамского университета; они были женаты тогда уже три года). Эткинд тогда уже публиковался в нашем журнале. Так, в «Зеркале Загадок» были напечатаны две его значительные работы: «Русская литература и свобода» и «Две еврейские судьбы. Читая дневники Виктора Клемперера».

На балконе у Эткинда, на фоне старой липы с могучим стволом и ветвями, осыпанными золотыми осенними листьями, легко рассказывалось о тайнах творчества.

В тот вечер Эткинд рассказал нам о заявлении Солженицына: «И надо же мне было до такой жизни дойти, что я вынужден был принимать помощь у еврея!» То есть у Эткинда. Который из-за Солженицына был отторгнут от России. Цитирую Солженицына: «Даже в Таврический дворец – посмотреть зал заседаний Думы и места февральского бурления – категорически отказано было мне пройти. И если попал я туда весной 1972 года – русский писатель в русское памятное место при «русских вождях»! – то риском и находчивостью двух евреев – Ефима Эткинда и Давида Петровича Прицкера...». (Новый мир, 1991,12).

В рассказе «Русский писатель и два еврея» Эткинд подвел печальный итог этой «дружбе неотрицаемой»: «Странно, что Солженицын не увидел солидарности тех, кто причастен к культуре, не оценил независимой от состава крови потребности интеллигенции к взаимоподдержке. А ведь именно такая солидарность увенчала автора «Ивана Денисовича» Нобелевской премией, помогла ему преодолеть изгнание и победителем вернуться в Россию».

Вечером 22 ноября 1999 года в Потсдаме на 82-м году жизни после тяжёлой операции скончался последний из плеяды русских просветителей, замечательный поэт-переводчик Ефим Эткинд.

Тело его было кремировано. Мне не известно, почему и кем было принято решение о кремации, противоречащее как еврейским, так и христианским традициям, но очевидно, что принятие такого решения было сопряжено с трудностями захоронения Эткинда рядом с первой женой, погребённой во Франции. Мне (а также моему мужу Борису Антипову и сыну Игорю Полянскому) довелось вместе с Фридрихом Горенштейном и Шимоном Маркишем присутствовать на траурной церемонии и поминках, состоявшихся в его потсдамской квартире. Урна с прахом затем была перевезена в Бретань, в селение Ивиньяк и захоронена рядом с первой женой Ефима Григорьевича Екатериной Федоровной Зворыкиной, которая, по его собственным словам, разделила его судьбу. Горенштейн за три года до собственной кончины писал:

*«Я пишу «Ефим», ибо сам Ефим Григорьевич попросил так себя называть, хотя нас разделяло солидное временное пространство. А теперь нас разделяет солидное географическое*

*пространство. Где эта земля Элизиум – Елисейское поле Гомера? Если верить Гомеру, то на западном краю Земли, на берегу Океана. И теперь уж придётся беседовать с Ефимом Эткиндом только там, на гомеровских Елисейских полях. Эти беседы нужны мне, ибо уход Ефима Эткинда из наших краев – большая для меня личная потеря».*

Бродский, Эткинд, Горенштейн, Солженицын – все они ушли из жизни. Полное безусловное признание в России и главные почести выпали на долю Александра Исаевича Солженицына. В Москве создано солидное учреждение «Дом Русского Зарубежья имени Александра Солженицына», творчество его изучают в школе, так же, как и творчество Гоголя и Достоевского – он объявлен классиком. Изучаются три произведения: «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор» и в сокращенном варианте «Архипелаг Гулаг». Именем его названы улицы многих городов – всего не перечить. Воистину пророческим оказалось его шуточное конспиративное имя, бытующее в среде друзей Эткинда: ВПЗР. Что означало: Великий Писатель Земли Русской.

Иосиф Бродский принят новой Россией, разумеется, не с таким почётом, как Солженицын, но всё же – принят. Признанным, уважаемым литератором является Ефим Эткинд (несмотря на унижительные процедуры возвращения ему регалий в нашем «Герцена» в 1989-м и 1994-м годах – это отдельная, другая история). Архив его находится в петербургской Российской национальной библиотеке имени М.Е. Салтыкова-Щедрина. В Петербурге в Европейском университете учреждена Международная премия имени Ефима Эткинда.

Протискивается в Россию Фридрих Горенштейн – его книги сейчас публикует издательство «Азбука-классика». Возникает вопрос: а как к столь позднему возвращению Горенштейна в Россию относится «Дом Русского Зарубежья имени Солженицына» и в особенности его *Отдел литературы и печатного дела Российского Зарубежья*? Разумеется, не всё могут знать учреждения. Могут и не знать.

Способ, как творил Создатель,  
Что считал он боле кстати,  
Знать не может председатель  
Комитета о печати.

А. К. Толстой, конечно, прав: не всё могут знать люди и учреждения.

Я по возможности изучила интернетный сайт «Дома русского зарубежья», особенно раздел «Солженицын и его окружение». О Ефиме Григорьевиче Эткинде – более чем скромная статейка (скорее, даже справка), не отражающая истинных событий, и более того, преднамеренно опускающая важные факты. Для меня – живого свидетеля трагедии Ефима Эткинда, его взлёта, а затем краха всего, чего достиг он именно в России, такая мифология отношений в литературном процессе вызывает удивление, если не сказать больше.

Если бы знать, как взирает *на всё это* мой любимый литератор Ефим Эткинд с Елисейского поля Гомера, что на берегу Океана с его неумолчным шумом волн, напоминающем о первобытном хаосе? Может быть, что-то нашептывает ему Океан? Доволен ли, или же недоволен плодами трудов своих и страданий, или что-то тревожит его в распределении регалий для крупнейших русских литераторов, изгнанных из Советской России?

И утешеньем служит мне надежда: в иных мирах для лучших из лучших всё же есть «литературный» уголок, где все равны перед законами искусства. Его узрел в своих видениях Данте. Это – «*novile castello*», благородный Лимб. Там автор «Илиады» всегда держит в правой руке меч, символ первенства в эпической поэзии. *Гомер – монарх поэтов многолетний, сатирик наш Гораций вслед идёт, Овидий – третий и Лукан последний. И каждый имя гордое несёт* (из перевода русского интерпретатора «Комедии» Маранцмана). Великолепная перспектива для истинного литератора: беседа благородных теней в благородном замке, там, где завтрашний день неотличим от вчерашнего, или же от сегодняшнего. Дискуссия о сущности истинного искусства, которой не будет конца. Занавес.

- <sup>1</sup> Горенштейн Ф. Беседы с Ефимом Эткингом, Зеркало Загадок, 2000, 9. С. 40.
- <sup>2</sup> Данте Алигьери. Божественная комедия: Ад / Пер. с итал. В. году Маранцмана. СПб. Специальная литература, 1999. Полностью: Данте Алигьери. Божественная комедия / Пер. с итал. В. году Маранцмана. М.: Классика Стиль, 2003.
- <sup>3</sup> А. Берзер. Сталин и литература. Звезда, №11, 1995. Вступительная статья редактора «Нового мира» тех лет Инны Борисовой.
- <sup>4</sup> Эткинд Е. Переписка за четверть века / Сост. П. Вахтина, И. Комарова, М. Эткинд, М. Яснов. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012.
- <sup>5</sup> Так Солженицын шифровал свою машинистку Елизавету Денисову Воронянскую, которая была арестована за сотрудничество с ним и после допроса в КГБ покончила с собой (из комментария к книге: Эткинд Е. Переписка за четверть века. С. 381, 383).
- <sup>6</sup> Благодаря Эткинду письмо А. Солженицына 4-му Всесоюзному съезду Союза советских писателей (16 мая 1967 г.) было опубликовано в газете «Ле Монд» 31 мая 1967 г.
- <sup>7</sup> Имеется в виду «Архипелаг Гулаг».

## Светлана Сокольская

### ПО КОМ ГОРИТ СВЕЧА.

Я зажигаю две свечи: одну в память о маме, другую в память о Лизе, маминой сестре, пропавшей без вести во время Великой Отечественной войны...

Их было три сестры, от двадцати двух до двадцати девяти лет отроду. По разным причинам они не успели эвакуироваться со всей семьей из Молдавии, одной из первых принявшей на себя удары врага. Бабушка с дедушкой и три старшие сестры с детьми уехали раньше. Дедушку схоронили в пути.

Вся бабушкина родня осталась в дубоссарском «Бабьем Яру», где с двенадцатого по двадцать восьмое сентября 1941 года были расстреляны более 18 тысяч евреев Кишинева, Тирасполя, Дубоссар, Бендер, Григориополя, Рыбницы, Оргеева, Балты и других городов.

Мою маму после окончания литературного отделения еврейского сектора Одесского пединститута направили преподавать русский язык не еврейским, а украинским детям. Перед войной она работала в селе Плоское в Украине. Тирасполь был тогда всё ещё столицей МАССР. Я держу в руках пропуск: «Разрешается гр. Финкельштейн Евгении Исаковне, работающей в плосковской средней школе учительницей, въезд и временное проживание в г. Тирасполь МАССР сроком с 21 июня по 21 июля 1941 г. Цель поездки – в отпуск».

Единственному в семье брату, дяде Абраму, война помогла выйти из тюрьмы, где он оказался за рассказанный в компании анекдот про Сталина. Его отправили на фронт военным переводчиком. Сохранилась фотография, где он в гимнастёрке и пилотке снят у кирпичной стены одного из берлинских домов.

Три родные сестры Маня, Лиза и Женя. Две первые ладные, хорошего роста девушки, и только Женя, старшая из них, совсем маленькая, но кругленькая и крепенькая, как колобок. Эта её крепость служила мне бронёй, когда она, спасаясь от бомбёжек, прыгала с подножки вагона, ни сном, ни духом не ведая о своей беременности.

Мой отец, высокий блондин в белой рубашке, каким я вижу его рядом с мамой на общешкольной фотографии от 29 мая 1941 года, был учителем химии в той же школе. Была весна, время любви и, может быть, их жизнь сложилась бы по-другому, но наступило лето, и началась война.

На Северном Кавказе, в селе Лад-Балка Орджоникидзевского края, что в Ставрополье, беженцев встречали высокими хлебами и распределили по домам. Двух сестёр послали на работу в колхоз, а маму оставили в школе учительницей. В крещенские морозы января 1942 года Маня не могла открыть замок на двери сарая, чтобы набрать дров и натопить избу, где находились роженица с ребенком. Пальцы её прилипали к железу, и она плакала от боли, но дров набрала.

Всю жизнь я испытывала огромную, безотчетно-инстинктивную привязанность к Мане. Ей, единственной из маминых сестёр, я говорила «ты» и любила её лицо, голос, походку, её доброту и мягкость.

У хозяйки была маленькая дочка, и мама, глядя на их бесконечное воркование, мечтала о девочке. Эта крестьянка и приняла у мамы роды. Её муж был бригадиром в колхозе. Спали они в избе, а мама со мной – на широкой русской печи. Когда я ночью плакала, мама, опасаясь, что мой плач разбудит их, пыталась приглушить его подушкой. Тогда хозяин кричал маме, чтобы она этого не делала, и что он не хочет отвечать за неё.

Через восемь дней после моего рождения маме сказали, что она лишится пайка, если не выйдет на работу. Мама принесла и положила меня прямо на стол в учительской. Увидев такое, директор школы разрешил оставлять меня на время уроков у него дома.

А немецкая армия продвигалась к Северному Кавказу, и мама рассказывала мне потом, как она ночами думала: сумеет ли она

покончить с собой и со мной, если на пороге появится немец. Однако, сестры хотели подзаработать побольше трудодней, чтобы иметь немного денег. И так дотянули до июля 1942 года.

Однажды в селе появился возница с подводой. Председатель колхоза велел всем оставшимся евреям уезжать немедленно и предупредил, что больше лошадей не даст, потому что страда, и так транспорта не хватает. Маня и мама со мной были на месте, а Лиза куда-то пропала. Маня обошла всё вокруг, побежала и в соседнее село, надеясь там отыскать Лизу, но та как сквозь землю провалилась. Стали упрашивать возницу подождать, но он и слышать ничего не хотел, и только повторял слова председателя. И тогда Маня решилась. Впоследствии она мне говорила: «Я подумала, что Лиза одна, и она доберётся, а эта с ребёнком – пропадёт».

Подвода привезла нас в Сальск. Там как раз грузился пароход, готовый к отплытию. Надо было подняться вверх по трапу. Но моя мама смолodu испытывала панический страх перед открытыми водоёмами. В море или в реку она заходила только по колено, и тут же у неё начинала кружиться голова.

Много позже у меня, восьмилетней, часто повторялся один и тот же сон, и я не понимала, сон это или мираж. Я видела часть парохода и лестницу, ведущую высоко-высоко. Двое мужчин ведут под руки женщину, а её шатает из стороны в сторону, и она громко стонет. Этот её стон так мучителен для меня, но я не могу избавиться от него. Это видение преследовало меня долго, а я тем временем подрастала, и вдруг однажды мне стало отчётливо ясно: да это же моя мама при погрузке на пароход в Сальске. Я вижу её маленькую фигурку в темном платье, и то, как она мечется, поднимаясь по трапу, а я, полугодовалая, на руках у Мани, и эта картина врезается мне в память на всю жизнь. Всё встало на свои места, и сон перестал приходить.

На пароходе – много беженцев, палуба битком набита людьми с мешками, корзинами, узлами. Недалеко от нас примостилась молодая, прилично одетая женщина, жена офицера, как она себя представила. Ей и приглянулась голубоглазая и белокурая малышка, у которой щёки не умещались на лице. Женщина, оценив ситуацию, стала упрашивать маму отдать ей меня. За ребёнка она

предлагала отрезки шёлка и другой материи. Сделка не состоялась.

Ещё и сейчас я содрогаюсь при мысли о том, что могла вырасти среди чужих мне людей и не знать родной матери. Нет уж, лучше моё полунищее и полуголодное детство, но с мамой, и в нашей большой доброй семье, которая была мне опорой всю жизнь.

Сойдя с трапа парохода, мы направились по железной дороге на Урал. Там уже была вся семья. В пути случалось всякое. Маня была бойкой и энергичной, обменивала вещи на продукты, бегала за кипятком, один раз чуть было не отстала от поезда. Но вот как-то ночью у нас украли всё, что было. В поисках выхода Маня на одной из станций обратилась к начальнику вокзала. Её направили в комнату, где две женщины выслушали рассказ о том, как она и сестра с маленьким ребёнком остались совсем без ничего. «Хорошо, – сказали женщины Мане. – Вы получите 300 рублей, но половину отдадите нам». Эта сделка состоялась, и так мы добрались до Урала. А судьба Лизы и по сей день неизвестна.

Мамина двоюродная сестра Нюся дружила с Лизой, и они переписывались с самого начала эвакуации. Потом связь прервалась. Нюся, обеспокоенная молчанием сестры, написала письмо в Лад-Балку с просьбой сообщить ей, что стало с Лизой. Ответа она не получила. Теперь уже доподлинно известно, что в конце июля 1942 года у реки Маныч шли тяжёлые бои, а в начале августа территория вокруг места, где я родилась, была окружена и захвачена до линии Краснодар – Ставрополь. Остальное можно себе только представить...

В детстве я любила слушать неспешные разговоры старших о прошлом, о войне, о мужьях. Никогда при мне не говорили о Лизе. Только когда бабушка на 98 году жизни ушла от нас, на её могильном памятнике я увидела мемориальную доску в память о погибшей Лизе. Постепенно мама и Маня, каждая отдельно, но почти слово в слово открыли мне эту трагическую страницу нашей жизни. С тех пор надо мной повис вопрос: был ли грех в нашем спасении, имели ли мы право бежать в таких обстоятельствах. Я поделилась своими переживаниями с маниной дочерью. Мудрая и тактичная Полина, помолчав, промолвила: «Остались бы, все бы погибли». Часть тяжести она сняла с моей души.

Искала я ответ и в талмудических текстах, в которых уделяется большое внимание вопросам спасения жизни – Пиккуах нефеш. Обсуждается предполагаемый случай: двое в пустыне, а запаса воды достаточно лишь для выживания одного. Эта проблема не находила однозначного решения, поскольку часть законоучителей считала, что воду следует делить поровну. Но возобладало мнение рабби Акивы: «Следует спасти жизнь одного из двоих, а не делить воду».

В Торе говорится так: «Выбери жизнь». Потому что можно выбрать и смерть. Акива сделал выбор в пользу жизни.

Когда мы, эмигрировав в Германию, задумали посетить Израиль и впервые прилетели в Тель-Авив, посещение музея Яд Вашем было главным делом. Там я взяла анкету, чтобы поселить Лизу в этом храме скорби и памяти. Оформление длилось долго. Наконец, я получила уведомление о том, что память о Лизе (Лейке) Финкельштейн увековечена в списках музея под номером 6878118.

Двоюродный брат Леонид Штейлер был старше меня на 14 лет, он жил у бабушки с дедушкой в доме и хорошо помнил довоенное время. Его как-то раз я спросила: «Которая из всех шести сестёр была самой красивой?». Я полагала, что такой была старшая сестра. «Нет, – сказал Лёня, – самой красивой была Лиза».

## РЕЙЗЕЛЕ

«У моей мамы нет ни голоса, ни слуха», – так думала я, потому что училась в музыкальной школе по классу скрипки, и у нас были уроки сольфеджио. Тем не менее, часто сидя со мной вечерами за столом, мама пела мне свои любимые песни: «Выхожу один я на дорогу...», «Тонкая рябина», «...так значит, мы всегда вдвоём, моя любимая».

С детства мне на душу легли три пласта народной музыки. Русские песни звучали по радио и в школе; молдавские дойны лились отовсюду, и молдавские танцы были знамениты на всю страну; еврейские песни я узнала от мамы: «Kinderjorn», «Ojfn Pripetschik», «Vaj mir bist du shein» («Детские годы», «На приступочке», « Ты

моя красивая»). Их пели на семейных праздниках и вечеринках, когда собирались все вместе. На столе была бутылка молдавского вина и бабушкин круглый, горячий, только что из духовки, кныш. Масло пенилось на его поджаристой корочке, и запах жареного лука в картошке был таким соблазнительным. За столом пели все, но особенно я любила, когда самая молодая из маминых сестёр, Маня, чистым голосом выводила: «Lo mir ale in eĵnem... m'kabel ronim saĵn» («Давайте все вместе... хвалу воздадим»), а Яша, её муж, уже слегка навеселе, запевал: «Розпрягайте, хлопци, коней...»

Иногда родные брали меня с собой на кладбище посетить могилы или отметить Jorzaĵt (годовщину) кончины кого-либо из покойных родственников. Был и трагический повод пойти на кладбище, когда в притоке разлившегося Днестра, называемом тираспольчанами Лиманом, утонул Шурик, мой одиннадцатилетний братик. Запомнилось, как на кладбище находили старого еврея, и он пел удивительные, ни на что не похожие, и оттого особенно волнующие мелодии, и быстро бормотал молитвы, а все стояли вокруг в благоговейном молчании.

Но, конечно, мне по возрасту были понятней и стали любимыми песни «Warnechkes», «Kojft shen papirosen», «Itzik ot shen hasene gehat» («Варнички», «Купите папиросы», «Ицик женился»). Порой мама напевала ещё одну песенку «Рейзеле» («Rejzele») о нежной юношеской любви Рейзеле и Довидл с очаровательной мелодией и прелестным текстом. Я даже не все слова там понимала, но эти запомнила хорошо: как спускаются по лесенке её тонкие ножки «...ire driwne fisalech». Заканчивалась песня словами: «Kum zu mir in holem, Rejzl, Kum,kum,kum» («Приди ко мне во сне, Рейзл...»).

В музыкальной школе мы воспитывались на классике и русской музыке, и были ориентированы на высокий стиль в искусстве. На нас смотрели неодобрительно, когда мы подбирали мелодии по слуху: следовало играть гаммы и этюды, а не увлекаться песенками из кинофильмов. Помню, однажды я сидела в классе у рояля и подбирала мой любимый вальс «В лесу прифронтовом». В дверь заглянула завуч школы, и я испугалась, что мне влетит, но

она ничего не сказала. Так или иначе, но мы относились немного свысока к народной музыке. Вскоре в нашем музыкальном училище открыли тарафное (народное) отделение, и мы слегка посмеивались над ребятами, отобранными из сёл на обучение. Но позже оказалось, что эти мальчики с их цыганской постановкой левой руки и куценьким смычком в правой умеют выделывать такие штуки, какие нам не под силу.

Когда мы оказались в Германии, и мне открылась возможность для концертной деятельности, я первым делом вспомнила свой классический репертуар: «Большое Адажио» из «Раймонды» Глазунова, «Юмореска» Дворжака и двойной концерт Баха были моими первыми шагами на новой земле. Постепенно я расширила свою программу за счет «Мелодии» Глюка, «Венгерских танцев» Брамса, «Вальса» из музыки к «Маскараду» Хачатуряна. Взять в работу, например, «Чардаш» Монти – ресторанщина, или «Полонез» Огинского – банальщина, мне, закончившей консерваторию концертом Брамса, и в голову не приходило. Хотя именно Огинский соответствовал моему тогдашнему эмигрантскому настроению: ведь он написал свой знаменитый «Полонез», отправляясь в эмиграцию из Польши, на последней станции, ожидая лошадей.

Однажды в синагоге я услышала в исполнении кантора старинный псалм «Al neharet Bawel». Это было необыкновенно красиво, и в то же время напоминало пение старика на кладбище. Я записала с голоса кантора эту потрясающую мелодию, и с этого псалма начался мой поворот к клезмерской музыке. Потом припомнила ноты «Kinderjorn», оказалось всё правильно, даже тональность, мама не подвела. Но не все песни были мне известны. Как-то после одного выступления ко мне подошла старая женщина, дотронулась до моего плеча и попросила сыграть «A iddishe Mame» («Еврейская мама»). Этой песни я тогда не знала. Услышать её довелось через пять лет в Нью-Йорке на праздновании юбилея моей племянницы в русском ресторане. Своей роскошью он превосходил всякую фантазию. На сцене в блестящем шоу эту песню исполняли на английском языке сёстры Роуз. Но мне нужны были только ноты! К счастью, ноты оказались при них. Я начертила на

обратной стороне программки несколько нотных рядов по пять линеек и переписала туда мелодию. Аранжировщика у меня никогда не было, поэтому я сама сделала скрипичную обработку и непременно исполняла «A iddishe Mame» в каждом концерте. В еврейской общине Ганновера, где нам, немногим музыкантам, обещали работу, я встретила со Стеллой Переваловой, пианисткой из Гнесинки, тогда совсем молоденькой, удивительно похожей на принцессу Диану и невероятно талантливой. Мы стали выступать вместе. Успех сопутствовал нам со Стеллой, особенно тогда, когда мы играли еврейские мелодии, но я относилась к этому немного скептически: «Какие доброжелательные и нетребовательные наши люди – я играю немудрёные песенки, а они так радуются», и даже смущалась немного, если в зале были профессиональные музыканты. Но одно событие полностью перевернуло мои представления.

Мы со Стеллой готовились к концерту, и я пришла к ней домой репетировать. Прежде чем начать играть, Стелла сказала: «Хочу вам дать кое-что послушать», и стала прокручивать аудиокассету. Кассета крутилась, музыка звучала, и вдруг что-то привлекло моё внимание. Я сразу узнала «Рейзеле», услышала слова про лесенку, по которой сбегают «...ire driwne fisalech» и про Довидл «Ich lib azoj dih, Rejzele,.. Lib dos gesl, lib di mame, lib dos alte hejzele» («Я так люблю тебя, Рейзеле,.. люблю эту улочку, люблю твою маму, люблю этот старенький домик»). Откуда-то изнутри поднялась во мне волна огромной силы, подхватила и отбросила назад, в прошлое. Оказавшись в том далёком времени, я увидела маму молодой и себя девчонкой. Потрясение было так велико, что я закрыла лицо руками и простонала: «Ой, мама!». Стелла вскочила со стула: «Света, что с вами?» А песня продолжала звучать, все восемь куплетов, я же не могла выговорить ни слова и только повторяла: «Ой, мама!» Лишь когда прозвучала последняя фраза «Kum zu mir in holem, Rejzl!», я, наконец, открыла лицо.

С тех пор я не удивляюсь, если после концерта слушатели подходят ко мне с повлажневшими глазами и мечтательными улыбками на лице. Ведь я услышала только одну песенку из моего

детства, – и вот что со мной случилось, а они слушают у меня в программе до тридцати мелодий из их детства. Целая стая птиц взмывает в душе – птицы нашей памяти.

Один старый еврей из Ганновера, бывший начальник аэропорта в Ташкенте, как-то сказал мне: «Когда я слышу «Ojfn Pripetschik» – всегда плачу». У моей кузины я спросила, знает ли она «Рейзеле»? «Да, – подтвердила Полина. – Дядя Абрам любил петь эту песенку». Я обрадовалась, значит, эта песня действительно жила в нашей семье.

К моему юбилею я получила драгоценный подарок: муж отыскал в интернете «Рейзеле» в прекрасном исполнении, переписал её на диск и даже перевёл текст на русский язык. Перевод получился хороший. Но для себя я продолжаю напевать на идиш: «Kum zu mir in holem, МАМА, kum,kum, kum».

## Наум Файдель

### ГЕТТО

С благодарностью произношу имя деда, – ведь семья обязана ему тем, что не погибла голодной смертью в гетто. Дед участвовал в первой мировой войне, был в немецком плену, вспоминал о немцах. Их образ жизни, порядок, чистота, главное, – мастерство сапожников, – остались в его памяти навсегда. Он не хотел верить тому, что они могут обижать евреев. Бедняга – дед Шопс. Каково было его удивление, когда весенним утром проснулись мы под немецкой властью, и на стенах домов и столбах висели объявления коменданта о запрете жидам выходить за пределы гетто. За нарушение – расстрел. Даже за сбор более трёх человек или плохую уборку улиц тоже расстрел. Жидам (нас иначе и не называли!) – строгое подчинение новому порядку. В Бершади не было тотального уничтожения всех евреев, как в соседних районах. Регулярно проводились облавы на улицах и рынке. Мужчин помоложе уводили. С тех пор в гетто их никогда не видели. Румынские власти решали еврейский вопрос по-своему. Они не хотели тратить на них патроны или строить газовые камеры. Достаточно было собрать десять тысяч человек в небольшое местечко, окружить их колючей проволокой и под страхом смерти запретить им выход из гетто. И скоро там начнётся голод, и люди сами начнут умирать на улицах, тем более, что наступала зима с морозами до 25 градусов. Без топлива, холод станет эффективным орудием, не менее, чем массовые расстрелы. Я не должен напрягать свою память, стоит лишь закрыть глаза, и я снова вижу горы человеческих тел лилового цвета. Мы подолгу укрывались поверх ватных одеял ещё и всяким тряпьем, но всё равно сильно замерзали. По утрам выносили покойников штабелями. Погребальная команда не успевала увозить

их, скрюченных морозом, и сваливала прямо на землю под наши окна. Мне тогда было десять лет. Я всякий раз замечал, что горы трупов увеличиваются. Я представлял себе, как тот или иной из нынешних покойников, если бы остался живым, там, у себя на родине, например, в Черновцах. учился бы в университете...

Увы, я с удивлением заметил, что мои внуки неохотно слушают мои воспоминания о жизни в гетто, хотя более поздний период им интересен. Связываю это с тем, что им, моим внукам, это как-то неуютно, вникать в моё прошлое, в ту трагедию, в которой жили их предки. Их пугают или вызывают отторжение эти знания, которые нарушают нынешний уклад их жизни...

Как сейчас, помню себя, десятилетнего, стоящего вблизи грузовика, на кузове которого собирались казнить юношу. На площади Ленина, где должно было происходить это злодеяние, не было ни души, мне останавливаться там было опасно.

Пробегая к себе мимо дедушки Шопсы, я остановился и стал смотреть, как солдаты делают свою работу: закидывают конец верёвки за верхнюю крестовину телеграфного столба, и затем, по команде, тянут за длинный конец каната, пока бедняга не повис в воздухе, и сильный мартовский ветер не распахнул на нём телогрейку и стал швырять его из стороны в сторону, как будто ждал момента, чтобы начать свою страшную забаву. Я кинулся домой, стараясь вспомнить, где я видел курносое лицо повешенного...

Дядя Яня, Ян Вольвовский, стал членом нашей семьи во времена гетто. До войны он работал директором заготконторы, был знаменитым специалистом своего дела и его уважал весь Голованевск. От призыва в армию его, как специалиста, освободили. После прихода немцев, он с матерью и сестрой оказался в толпе евреев, которых полицаи гнали к пустырю, где была заранее вырыта яма. Местные жители, неевреи, стояли у обочины и с ужасом наблюдали за происходящим, а некоторые подгоняли евреев всёлыми выкриками.

Особенно много их услышал Вольвовский. Ведь многие его знали. В группе людей, обречённых на расстрел, он стоял с матерью и сестрой. Его мать прошептала: «Падай сынок в яму, может, Бог даст, выживешь».

И Бог, действительно, помог, но только ему одному. Остальные были расстреляны. Когда стало смеркаться, Вольвовский вылез из-под мертвецов, извинился перед родными и стал пробираться наверх. Его дорога длилась несколько недель, ведь ходил он только ночами. Оказавшись в Бершади, он резко отличался от местных жителей своей внешностью. Мужчина, заросший и весь в грязи, ватные штаны и телогрейка изорваны. Прохожие шарахались от него. Чужая беда в то время никого не трогала. Голодное время, когда за пару картофелин отдавали дорогое кольцо, поэтому об угощении незнакомого человека не могло быть и речи. Вольвовского и в этот раз спас счастливый случай. Проходя мимо дома по Комсомольской улице, где мы жили, он постучался и вошёл. На пороге оказался дед Шопс. «Кто вы?» – спросил он.

Рассказ Яна был долгим и подробным. Из него мы узнали подробности гибели Голованевских евреев и о его случайном спасении. Ян Вольвовский прижился в доме деда Шопсы. Он быстро освоил основы сапожного ремесла, стал подручным деда. Всё было бы хорошо, если бы не одна странность, которую мы сразу не поняли. По вечерам он зажигал огарок свечи и уходил с ним к себе. В конце коридора в полу находилась потайная дверь. Каждый вечер он спускался по лестнице в подвал и укладывался там спать. Все три с половиной года, что он прожил с нами в гетто, он ни разу не спал наверху. Тётя Переле, которой он приглянулся, уговаривала его не спать в подвале, ибо он может заболеть, но он отказывался. Слишком глубоко сидел в нём страх расстрела. Никому он не позволял спускаться в его лежбище. Но однажды мы всё-таки там побывали, когда узнали, что в Бершадь скоро придёт зондеркоманда. Мы решили спастись в подвале. Я чётко запомнил этот день. Подвал был забит до отказа. От недостатка кислорода керосиновая лампа погасла, и мы оказались в полной темноте. Неизвестно, сколько времени мы там провели. Самые смелые помогли нам выйти наружу. Мы наслаждались воздухом и солнечным светом, несмотря на висевшую опасность попасть в лапы зондеркоманды...

Ян Вольвовский, человек небольшого роста, неопределённого возраста, обстоятельный, с лицом типичного еврея: орлиный нос, выпуклые глаза. Сразу же после войны, тётя Переле всё-та-

ки сумела убедить его жениться на ней. От их брака родились три дочери, но, увы, долгожданного сына так они и не дождались. После войны Ян прожил недолго, скоротечная чахотка догнала его. Ушёл человек редкой судьбы и житейской мудрости.

Куда более трагичной оказалась судьба молодых ребят, которые к моменту освобождения достигли 18-летнего возраста. Их, плохо обученных, отправили на фронт насильно, в укрепленный город Яссы, где они и сложили свои головы.

В Бершади сейчас безвозвратно оборвана еврейская жизнь, которая некогда была описана классиками еврейской литературы Менделе Мойхер-Сфоримом и Шолом-Алейхемом. Теперь там проживают пятнадцать стариков. Из многих стран приезжают люди, чтобы поклониться могилам своих предков.

Однажды, приехав в Бершадь с той же миссией, автор этих строк решил побродить по кривым и ухабистым улочкам своего детства. Он остановился возле синагоги. Запустение встретило его прямо у входа. Несколько стариков на скамье у амвона читали молитву. Самозванный раввин, бывший подполковник, собирался навсегда уехать к дочери. Тогда синагогу запрут на замок. Этим будет поставлена последняя точка в истории некогда многочисленного еврейского населения Бершади.

## Бронислава Фурманова

### «ХОЛОДНАЯ ОСЕНЬ 53-го ГОДА»

Дальний Восток. Комсомольск на Амуре. Осень 1953 года. Добравшись к месту очередного нового назначения мужа – майора Дальневосточного Военного Округа, мама, измученная долгой и тяжёлой дорогой с Украины, ночью, прямо с вокзала поехала в ближайшую больницу. Старшему из её сыновей – десятилетнему Лёне в дороге стало плохо. Он плакал, жалуясь на боли в боку.

Женщина – врач, осмотрев его, успокоила маму, сказав, что никакого повода для беспокойства нет – возможно, воспаление аппендикса. Мальчик должен остаться в больнице. Утром придёт хирург и решит, что делать дальше.

С трудом добравшись до служебной квартиры (отец из-за военных учений не смог встретить семью на вокзале), мама уложила спать дочь и второго сына. Наскоро разложив вещи, с тревогой стала ожидать наступления утра. С первыми лучами солнца она поспешила в больницу.

Назвав дежурной сестре фамилию, мама по выражению её лица поняла – что-то случилось. Всё было, как в тумане: маму куда-то вели, о чём-то говорили, давали выпить лекарство. Её сердце как будто остановилось. В голове стучало: «Моего мальчика больше нет».

Диагноз, озвученный врачами – перитонит. Всё, что могли, они сделали. Но, увы...

Старший сын. Красивый, жизнерадостный мальчик. Он мечтал о новых друзьях, хотел увидеть особую природу Дальнего Востока, о которой много слышал... Его больше не было...

На самом деле его звали Иосифом. Но маме очень нравилось имя «Лёня» и она называла его только так. И вскоре он для всех стал Лёней.

Нет смысла описывать горе родителей, потерявших ребёнка. Это – незаживающая рана. Возможно, только моё рождение (через несколько месяцев) чуть-чуть притупило горечь утраты. Нужно было держаться, найти в себе силы жить ради остальных детей. Жизнь есть жизнь. Она стала входить в свою колею.

Однако, судьба приготовила родителям новое испытание – заболела моя сестра, теперь старшая из детей. Диагноз, поставленный врачами, испугал: «Симптомы астмы. Нарушение функции щитовидной железы из-за нехватки йода в регионе». Врачебный совет – перемена климата.

Рисковать здоровьем дочери родители не могли. И отец, прослужив в армии около двадцати лет, подал рапорт о переводе в другой округ. Несмотря на столь вескую причину, его просьба была отклонена. Прекрасно понимая, что в дальнейшем он не сможет получать военную пенсию, отец увольняется в «запас» – здоровье дочери дороже. Наша семья переезжает в окружённый горами, солнечный Пятигорск, климат которого так необходим моей сестре.

Содержать семью с тремя детьми отцу было тяжело – наступили трудные времена. Выделенное в подвальном помещении временное жильё было очень сырым, в углах сочилась вода. Маме приходилось прилагать невероятные усилия, чтобы как-то обустроить это жилище.

И вдруг, очередной удар. Пожалуй, самый страшный – письмо из прокуратуры Комсомольска на Амуре. В нём сообщалось, что смерть Лёни была «организована» тем самым дежурным врачом – женщиной, возможно, тоже матерью, которая оставила его в больнице и, приветливо улыбаясь, уверяла маму, что причин для волнений нет; которая намеренно, при обострившемся приступе аппендицита, положила ему горячую грелку, тем самым, вызвав перитонит, от чего и умер Лёня; которая когда-то давала клятву Гиппократу, и которая действительно «сделала всё, что смогла», чтобы убить десятилетнего мальчика.

Лёня оказался семнадцатым в списке ею «убиенных» еврейских мальчиков. Таков был итог пятнадцатилетней деятельности этой убийцы в качестве врача – представителя самой гуманной профессии в мире...

Родители не смогли поехать в Комсомольск на Амуре для дачи показаний в суде. Мне было всего шесть месяцев, брату – около пяти лет, сестра болела. Кроме того, у отца на нервной почве открылась язва желудка.

Полученное известие, что убийца осуждена на двадцать пять лет тюремного заключения, не принесло облегчения ни моим родителям, ни родным других шестнадцати загубленных детей. Мой старший брат, не успев ещё осознать, что означает быть евреем, погиб только потому, что был им.

Мы часто слышали эту трагическую историю о судьбе брата, которого я никогда не видела живым.

На стене у постели родителей всегда висел портрет мальчика с большими голубыми глазами. Вглядываясь в них, я будто читала застывший вопрос: «За что?»

В память о потерянном сыне, родители всегда в годовщину его гибели зажигали свечу.

Прошли годы... Пятигорское лето в разгаре, и со двора доносится весёлый гомон детворы. Мама выходит на балкон и ласково зовёт: «Лёня, Лёничка! Обедать». В дверях появляется мальчик с большими чёрными глазами – внук. Когда родился мой сын, сомнений, как его назвать, не было, и у моих родителей вновь появилась возможность с любовью произносить это имя.

ХУДОЖНИК АРКАДИЙ ПУГАЧЕВСКИЙ,  
*гравюры которого украшают эту книгу.*

Аркадий Моисеевич Пугачевский родился в 1937 году в Киеве. Окончил графический факультет

Украинского полиграфического института.

Участвовал более чем в пятидесяти международных выставках. Он получил 18 наград в Бельгии, Великобритании, Италии, Латвии, Литве, Люксембурге, Польше, США и Японии.

Он является действительным членом общества гравёров по дереву (Великобритания).

Главенствующие характеристики его творчества раскрываются предельно чётко и ясно в позиции к отношению формы и содержания. Для него эмоционально-чувственное переживание (и впечатление) всегда первичный и, безусловно, ведущий элемент реализации художественного образа.

Именно поэтому он так осторожен и разборчив в окончательном выборе стержневой темы, по канве которой реализуется плод его воображения.

Его гравюры отличает, прежде всего, эффект новизны самых непредвиденных, непредсказуемых поворотов творческого ключа, изощрённое богатство самой гравюрной техники в сочетании с почти сказочной, ирреальной романтикой.

Творчество Аркадия Пугачевского – подлинный *tour de force* даже в самых малых своих формах (*ex libris*, *per felice* и др.) – вполне уравновешенно, несмотря на некоторую театральность, изредка чуть драматизированную, много чаще – комедийную, трагедийную, не без доброжелательного юморка, порой с игривыми грациозными элементами лёгкого дружеского подтрунивания.

Яков Бердичевский, (Абзацы из вступительной статьи к аль-

бому «Аркадий и Геннадий Пугачевские». Киев. Издательство С. Бродовича, 2007 г.)

В книге представлены:

- на первой стороне обложки гравюра «Фрэй лас», 2001г.
- на тыльной стороне обложки гравюра «Ностальгия», 1996г.
- на фронтисписах гравюры «Всё проходит», 1998г., «Лилии», 2002г., «Библиофил», 2007г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

### ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

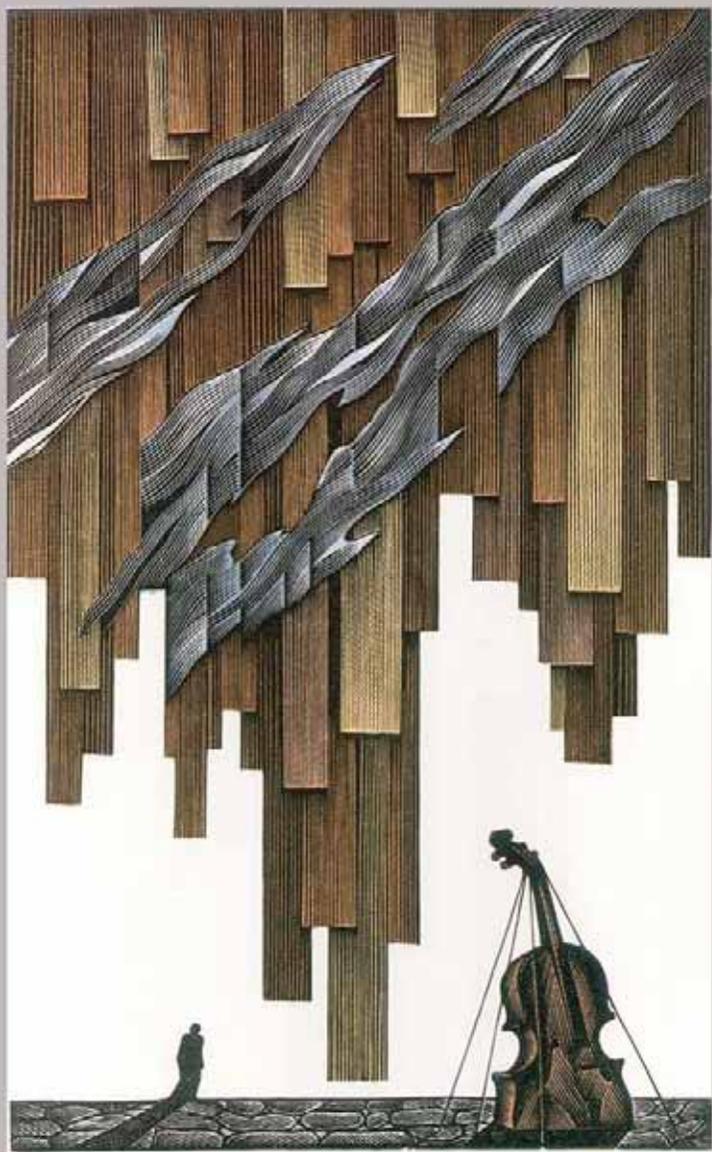
Леонид Бердичевский	6
Давид Брацлавер	20
Нора Гайдукова	23
Генриетта Ляховицкая	32
Анжелла Подольская	42
Яков Раскин	48
Феликс Фельдман	67
Бронислава Фурманова	81
Альфред Ходорковский	94
Давид Яновский	96

### ПЕРЕВОДЫ

Леонид Бердичевский	112
Генриетта Ляховицкая	125
Анжелла Подольская	133
Феликс Фельдман	140
Марк Шейнбаум	145
Давид Яновский	147

### МЕМУАРЫ. ЭССЕ. ПУБЛИЦИСТИКА

Карл Абрагам	157
Марианна Кундель	174
Генриетта Ляховицкая	178
Мина Полянская	187
Светлана Сокольская	205
Наум Файдель	214
Бронислава Фурманова	218
Художник	
Аркадий Пугачевский	221



**В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  
СОВРЕМЕННЫХ БЕРЛИНСКИХ АВТОРОВ**

**ЕВРЕЙСКИЕ МОТИВЫ**